



ПРИЗРАК ОПЕРЫ

ГАСТОН ЛЕРУ

Гастон Леру

Призрак Оперы

«Автор»

2026

Леру Г.

Призрак Оперы / Г. Леру — «Автор», 2026

Может ли призрак обладать осязаемым телом, требовать баснословное жалованье и писать гневные письма? Дирекция Гранд-Опера считала это глупой шуткой, пока в театре не начали происходить необъяснимые трагедии. В самом сердце Парижа разворачивается смертельно опасная игра, правила которой диктует гениальный и жестокий невидимый кукловод. В центре этой бури оказывается скромная хористка Кристина Даэ и влюбленный в нее аристократ Рауль де Шаньи. Им предстоит спуститься в самые жуткие бездны человеческой души, чтобы разгадать тайну существа, скрывающего свое лицо под маской. Кто он — чудовище, карающее за любопытство, или непризнанный гений, жаждущий капли земной любви? Представляем абсолютно новый, стилистически богатый перевод шедевра Гастона Леру. Текст адаптирован для современного читателя, но полностью сохраняет изящный слог, иронию и неповторимый дух Франции эпохи Belle Époque.

© Леру Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛАВА I	8
ГЛАВА II	14
ГЛАВА III	20
ГЛАВА IV	24
ГЛАВА V	28
ГЛАВА VI	32
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Гастон Леру Призрак Оперы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я был бы неблагодарным, если бы на пороге этой жуткой и правдивой истории не поблагодарил нынешнюю дирекцию Оперы, любезно содействовавшую всем моим изысканиям, и в особенности господина Мессаже; а также симпатичнейшего администратора господина Габiona и обходительнейшего архитектора, ответственного за сохранность здания, который без колебаний одолжил мне труды Шарля Гарнье, хотя был почти уверен, что я их не верну. Наконец, мне остаётся публично признать щедрость моего друга и бывшего соавтора господина Ж.-Л. Крозе, позволившего мне черпать из его великолепной театральной библиотеки и брать у него уникальные издания, которыми он очень дорожил. — Г. Л.

Призрак Оперы существовал. Вопреки долго державшемуся мнению, он не был ни выдумкой артистов, ни директорским суеверием, ни бледным плодом разгорячённого воображения юных танцовщиц из кордебалета, их матушек, билетёрш, гардеробщиков и консьержки.

Да, он существовал во плоти и крови, хотя и старался сойти за настоящее привидение, то есть за тень.

Едва я принялся разбирать архивы Национальной академии музыки, как меня поразило совпадение: странности, приписываемые призраку, удивительно точно ложились на самую таинственную и самую фантастическую из трагедий. Вскоре я уже подозревал, что одно, пожалуй, вполне разумно объясняется другим. События эти отстоят от нас всего лет на тридцать. Даже теперь в танцевальном фойе нетрудно найти весьма почтенных стариков, чьим словам нельзя не верить. Они помнят так, словно всё случилось вчера, при каких загадочных и страшных обстоятельствах была похищена Кристина Даэ, исчез виконт де Шаньи и погиб его старший брат, граф Филипп. Тело графа нашли на берегу озера, которое раскинулось в недрах Оперы, со стороны улицы Скриб. Но ни одному из этих свидетелей до сих пор не пришло в голову связать жуткую историю с полупоупендарной фигурой, которую называли оперным призраком.

Истина проникала в моё сознание медленно. Расследование то и дело упиралось в события, которые на первый взгляд можно было счесть потусторонними, и это сбивало меня с толку. Не раз я готов был бросить дело, в котором выбивался из сил, гоняясь за пустым образом, неуловимым, как мираж. Но в конце концов предчувствия меня не обманули, и все труды были вознаграждены в тот день, когда я убедился: призрак Оперы был чем-то большим, чем тень.

В тот день я долгие часы просидел над «Записками директора», лёгким сочинением чересчур скептического Моншармена. За всё время службы в Опере он так и не понял тёмных проделок призрака и высмеивал его как мог. А между тем именно тогда он сам становился первой жертвой любопытной финансовой операции, разыгрывавшейся вокруг «волшебного конверта».

Я вышел из библиотеки в унынии и на лестничной площадке столкнулся с любезным администратором нашей Национальной академии. Он беседовал с маленьким бодрим старичком, щеголеватым и подвижным, и весело меня ему представил. Господин администратор знал о моих поисках и о том, с каким нетерпением я тщетно пытался разыскать следователя по знаменитому делу Шаньи, господина Фор. Никто не ведал, что с ним случилось, жив он или умер. И вот он вернулся из Канады, где провёл пятнадцать лет, и первым делом в Париже явился в секретариат Оперы просить контрамарку. Этим старичком и был сам господин Фор.

Большую часть вечера мы провели вместе, и он пересказал мне дело Шаньи так, как понимал его когда-то. За недостатком улик ему пришлось заключить, что виконт помешался, а старший брат погиб от несчастного случая. Но он по-прежнему был убеждён, что между братьями из-за Кристины Даэ разыгралась страшная драма. Что стало с Кристиной и с виконтом, он сказать не смог. О призраке он, разумеется, лишь посмеялся. Он тоже слышал о странных происшествиях, будто бы свидетельствовавших, что в одном из самых загадочных уголков Оперы поселилось необыкновенное существо, и знал историю с «конвертом». Но ничего, что заслуживало бы внимания судьи по делу Шаньи, во всём этом не нашёл. Он едва выслушал показания свидетеля, который явился сам и заявил, что встречался с призраком. Свидетелем был не кто иной, как человек, которого весь Париж звал «Персом» и которого знали все абоненты Оперы. Судья принял его за фанатика.

Нетрудно вообразить, как невероятно заинтересовала меня история с Персом. Я решил отыскать этого драгоценного и своеобразного свидетеля, пока не поздно. Удача снова мне улыбнулась: я нашёл его в тесной квартирке на улице Риволи, откуда он за все эти годы ни разу не съезжал и где ему оставалось жить всего пять месяцев после моего визита.

Поначалу я отнёсся к нему с недоверием. Но Перс с детской безыскусностью рассказал всё, что знал о призраке лично, а затем отдал мне в полную собственность доказательства его существования, и прежде всего диковинную переписку Кристины Даэ, ослепительным светом озарявшую её страшную судьбу. После этого сомневаться стало невозможно. Нет и нет! Призрак не был мифом!

Знаю, мне возражали, что вся эта переписка могла оказаться подделкой, сочинённой человеком, чьё воображение вскормлено самыми заманчивыми сказками. К счастью, помимо пресловутой пачки писем, мне удалось найти и другие образцы почерка Кристины, а сравнительное исследование развеяло мои сомнения. Я навёл справки и о самом Персе и убедился, что это человек честный, неспособный выдумать махинацию, которая могла бы ввести правосудие в заблуждение.

Того же мнения держатся и самые значительные люди, так или иначе причастные к делу Шаньи, друзья семьи. Им я показал все документы и изложил все выводы. Я встретил у них самое благородное одобрение и позволю себе привести несколько строк, адресованных мне генералом Д.

«Милостивый государь!

Не могу не настаивать, чтобы вы опубликовали результаты своего расследования. Прекрасно помню, что за несколько недель до исчезновения великой певицы Кристины Даэ и до драмы, облачившей в траур весь Сен-Жерменское предместье, в танцевальном фойе много говорили о призраке. Думаю, разговоры смолкли лишь после этого события, завладевшего всеми умами. Но если, как я полагаю после нашей беседы, драму можно объяснить призраком, прошу вас, сударь, расскажите нам о призраке ещё. Каким бы загадочным он ни казался на первый взгляд, объяснить его всегда будет легче, чем эту мрачную историю, где недоброжелатели захотели увидеть, как два брата, всю жизнь обожавшие друг друга, готовы были растерзать друг друга насмерть...

Примите уверения и проч.»

Наконец, с досье в руках, я ещё раз обошёл обширные владения призрака, грозное здание, которое он сделал своей империей. Всё, что видели мои глаза и до чего доходил мой ум, превосходно подтверждало документы Перса. И тут чудесная находка увенчала мои труды.

Все помнят, что недавно, когда в подвале Оперы рыли яму, чтобы захоронить фонографические записи голосов артистов, кирка рабочих обнажила чьи-то останки. Я сразу получил доказательство того, что это труп Призрака Оперы! Я заставил самого администратора потрогать это доказательство собственной рукой, и теперь мне безразлично, что газеты пишут, будто нашли жертву Коммуны.

Несчастные, расстрелянные во время Коммуны в подвалах Оперы, похоронены вовсе не здесь. Я укажу, где лежат их скелеты, далеко от той огромной крипты, куда во время осады свозили всевозможные съестные припасы. На этот след я напал, как раз разыскивая останки призрака Оперы, которых не нашёл бы без невероятной случайности с погребением живых голосов!

Но о трупе и о том, как с ним надлежит поступить, мы ещё поговорим. А сейчас мне следует завершить это необходимое предисловие и поблагодарить скромных помощников, без которых ничего бы не вышло. Это полицейский комиссар господин Мифруа, в своё время прибывший на место для первых следственных действий после исчезновения Кристины Даэ; бывший секретарь господин Реми; бывший администратор господин Мерсье; бывший хормейстер господин Габриэль; и особенно госпожа баронесса де Кастело-Барбезак, некогда «малышка Мег» (и нисколько этого не стесняющаяся), самая очаровательная звезда нашего великолепного балета, старшая дочь почтенной госпожи Жири, покойной билетёрши из ложи Призрака. Все они оказали мне неоценимую помощь, и благодаря им я смогу вместе с читателем заново прожить в мельчайших подробностях эти часы чистой любви и ужаса.¹

¹ Интервью Мохамед-Али-бея на следующий день после вступления войск из Салоник в Константинополь, взятое специальным корреспондентом «Матэн».

ГЛАВА I

Не призрак ли это?

В тот вечер господа Дебьен и Полиньи, покидавшие директорский пост, давали свой прощальный гала-спектакль. В уборную Сорелли, одной из первых танцовщиц, внезапно ворвалась с полдюжины девиц из кордебалета, только что отплясавших в «Полиевкте». Они влетели в страшном смятении: одни хохотали громко и неестественно, другие визжали от ужаса.

Сорелли хотела хоть минуту побыть одна и повторить приветственную речь, которую вот-вот предстояло произнести в фойе перед Дебьеном и Полиньи. Всю эту оглашенную ораву, хлынувшую за ней следом, она встретила с досадой. Обернувшись к подругам, она спросила, что за переполох. Причину назвала маленькая Жамм (носик, достойный карандаша Гревена, глаза-незабудки, щёки-розы, шейка-лилия). Три слова она выговорила дрожащим голосом, задушенным страхом:

— Это призрак!

И повернула в замке ключ.

Уборная Сорелли была обставлена казённо и пристойно: трюмо, диван, туалетный столик, шкафы, и больше ничего. На стенах висело несколько гравюр, память о матери, заставшей лучшие дни старой Оперы на улице Ле-Пелетье: портреты Вестриса, Гарделя, Дюпона, Биготтини. Девчонкам из кордебалета эта комнатка казалась дворцом. Сами они ютились в общих гримёрных, где пели и переругивались, колотили парикмахеров и костюмерш и угощались рюмочками смородиновой настойки, пивом, а то и ромом, пока не звенел звонок помощника режиссёра.

Сорелли была до крайности суеверна. Услышав про призрака, она вздрогнула и сказала: — Вот глупышка!

Но сама она первой верила в привидений вообще и в оперное в частности, а потому тут же потребовала подробностей.

— Вы его видели? — спросила она.

— Как вас сейчас! — простонала Жамм. Ноги её не держали, и она рухнула на стул.

Тотчас подала голос маленькая Жири (глазки-черносливины, волосы цвета туши, смуглая, как копчёная, бедная кожица на бедных косточках):

— Если это он, то какой же он уродливый!

— О да! — отозвался хор танцовщиц.

И они затараторили все разом. Призрак предстал им в облике господина в чёрном фраке: он вдруг вырос перед ними в коридоре, и никто не заметил откуда. Появился он так внезапно, что впору было подумать, будто он вышел прямо из стены.

— Ну вот ещё! — сказала одна из девушек, сохранившая остатки хладнокровия. — Вам везде мерещится призрак.

И правда, уже несколько месяцев в Опере только и говорили об этом призраке во фраке. Он бродил тенью по всему зданию, от колосников до подвалов, ни к кому не обращался, и никто не смел заговорить с ним. Стоило его заметить, как он исчезал, и никто не мог сказать, куда и как. Шагов его не было слышно, как и подобает настоящему призраку. Сначала над ним смеялись, потешаясь над этим выходцем с того света, одетым то ли как светский щёголь, то ли как гробовщик. Но скоро легенда о призраке разрослась в кордебалете до чудовищных размеров. Каждая уверяла, что так или иначе встречала это неземное существо и пострадала от его козней. Громче всех смеялись те, кому было страшнее прочих. Когда призрак не показывался, он давал знать о себе происшествиями то смешными, то зловещими, и всеобщее суеверие тут же возлагало вину на него. Случилась беда? Одна из девиц подстроила подруге пакость? Пропала пуховка для пудры? Во всём виноват призрак, призрак Оперы!

Если вдуматься, кто же его видел? В Опере можно встретить столько чёрных фраков, не имеющих ничего общего с призраками. Но у этого была примета, которой нет у прочих фраков: он облекал скелет.

Так, по крайней мере, уверяли девицы.

И голова у него, разумеется, была мёртвая.

Серьёзно ли всё это? Дело в том, что скелет родился из рассказа Жозефа Бюке, старшего машиниста сцены, который видел призрака на самом деле. Он столкнулся с таинственной фигурой (сказать «нос к носу» нельзя, поскольку носа у призрака нет) на узкой лесенке возле рампы, ведущей прямо в «трюм». Разглядывать его удалось всего секунду, потому что призрак тотчас бросился наутёк, но видение врезалось машинисту в память навсегда.

Вот что Жозеф Бюке говорил о призраке каждому, кто соглашался слушать:

«Он страшно худ, и чёрный фрак болтается на нём, как на скелете. Глаза запали так глубоко, что зрачков не разглядеть. Видишь только две огромные чёрные дыры, как в черепе у мертвеца. Кожа натянута на костях, как на барабане, и не белая, а мерзко-жёлтая. Носа почти что нет, сбоку не увидишь, а без носа на него и смотреть жутко. Три-четыре длинные тёмные пряди на лбу и за ушами заменяют ему волосы».

Жозеф Бюке бросился было за странным видением, но оно исчезло, словно по волшебству, не оставив следа.

Старший машинист был человек серьёзный, основательный, воображения небогатого и непьющий. Его слова выслушали с изумлением и жадным интересом, и тут же нашлись люди, готовые рассказать, что и они встречали фрак с мёртвой головой.

Здравомыслящие люди, прослышав об этом, сперва заявили, что над Бюке подшутил кто-то из подчинённых. Но потом одно за другим стали случаться происшествия столь странные и необъяснимые, что даже самые бывалые забеспокоились.

Лейтенант пожарной команды, казалось бы, храбрец! Ничего не боится, а уж огня и подавно!

И вот этот лейтенант отправился с обходом в трюмы и, по слухам, забрёл чуть дальше обычного. Внезапно он выскочил на сцену бледный, перепуганный, дрожащий, с вытаращенными глазами и едва не лишился чувств на руках почтенной матушки малютки Жамм. Отчего? Оттого, что прямо на него, на уровне головы, но без туловища, плыла огненная голова! Повторю: лейтенант пожарных, а огня не боится.²

Звали лейтенанта Папен.

Кордебалет был потрясён. Огненная голова никак не вязалась с описанием Жозефа Бюке. Пожарного расспросили, машиниста допросили ещё раз, и девицы пришли к выводу, что у призрака несколько голов и он меняет их по желанию. Само собой, они тут же вообразили, что им грозят величайшие опасности. Раз уж лейтенант пожарных не постыдился упасть в обморок, то и корифейки с крысятами вправе были пугаться как угодно, и они мчались во все лопатки мимо любой тёмной дыры в плохо освещённом коридоре.

И вот, чтобы по мере возможности оградить здание, обречённое столь ужасным козням, сама Сорелли в окружении всех танцовщиц и даже всей мелюзги из младших классов в трико на завтра после истории с лейтенантом положила на стол в привратничкой, со стороны двора администрации, подкову. Всякий, кто входил в Оперу не зрителем, должен был коснуться её, прежде чем ступить на первую ступеньку лестницы. Иначе он рисковал стать добычей тайной силы, завладевшей зданием от подвалов до чердака!

² Интервью Мохамед-Али-бея на следующий день после вступления войск из Салоник в Константинополь, взятое специальным корреспондентом «Матэн».

Эту подкову, как, впрочем, и всю историю (увы!), я не выдумал. Её и сегодня можно увидеть на столе в вестибюле, напротив комнаты консьержа, если войти в Оперу со двора администрации.

Этого довольно, чтобы понять душевное состояние девиц в тот вечер, когда мы вместе с ними вошли в уборную Сорелли.

— Это призрак! — только что воскликнула маленькая Жамм.

Тревога танцовщиц лишь росла. Теперь в уборной стояла мучительная тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием. Наконец Жамм, с неподдельным ужасом забившись в самый дальний угол, прошептала одно слово:

— Слушайте!

Всем и правда почудилось, что за дверью что-то шуршит. Шагов не было слышно, будто лёгкий шёлк скользил по дереву. Потом всё стихло. Сорелли попыталась держаться храбрее подруг. Она подошла к двери и спросила бесцветным голосом:

— Кто там?

Никто не ответил.

Чувствуя, что все глаза следят за каждым её движением, она заставила себя быть смелой и сказала очень громко:

— Там кто-нибудь есть?

— Ох, да! Да! Конечно, кто-то есть! — подхватила Мег Жири, эта сухонькая черносливи́на, героически вцепившаяся в газовую юбку Сорелли. — Только не открывайте! Боже мой, не открывайте!

Но Сорелли, вооружённая стилетом, с которым никогда не расставалась, всё же повернула ключ и распахнула дверь. Танцовщицы отпрыгнули в туалетную комнату, а Мег Жири вздохнула:

— Мамочка! Мамочка!

Сорелли отважно выглянула в коридор. Он был пуст. Огонёк газового рожка в стеклянной клетке бросал на окружающую тьму красноватый мутный отсвет, но рассеять её был не в силах. Танцовщица поспешно закрыла дверь и тяжело вздохнула.

— Нет, — сказала она. — Никого нет.

— А мы ведь точно его видели! — настаивала Жамм, мелкими робкими шажками возвращаясь на своё место возле Сорелли. — Он где-то здесь, бродит. Я не пойду переодеваться. Давайте спустимся в фойе все вместе, сейчас же, для «поздравления», а потом так же вместе вернёмся.

С этими словами девочка благоговейно коснулась коралловой ручки-амулета, призванной отвести злую судьбу. А Сорелли украдкой начертила розовым ногтем большого пальца правой руки андреевский крест на деревянном колечке, надетом на безымянный палец левой.

«Сорелли, — писал один знаменитый хроникёр, — высокая красивая танцовщица с серьёзным и чувственным лицом, стан её гибок, как ива; о ней обычно говорят: «преlestное создание». Золотые, чистые волосы венчают матовый лоб, под которым горят два изумрудных глаза. Голова её покачивается, как султан, на длинной, изящной, гордой шее. Когда она танцует, в движении её бёдер есть нечто неопиcуемое, и всё тело охватывает трепет неизъяснимой истомы. Когда она вскидывает руки и склоняется, чтобы начать пируэт, обрисовывая весь контур корсажа, а наклон выдвигает вперёд бедро этой восхитительной женщины, это, говорят, картина, от которой впору пустить себе пулю в лоб».

Что до мозгов, то их у неё, как известно, водилось немного. Её за это не упрекали.

Она сказала малышам:

— Девочки, надо взять себя в руки! Призрак? Может, его никто никогда и не видел!

— Нет, видели! Видели! Мы только что его видели! — запротестовали малышки. — У него была мёртвая голова и тот самый фрак, как в вечер, когда он явился Жозефу Бюке!

— И Габриэль его тоже видел! — вставила Жамм. — Не дальше как вчера! Вчера днём, при белом дне!

— Габриэль, хормейстер?

— Ну да! Как, вы не знаете?

— И он был во фраке, средь бела дня?

— Кто? Габриэль?

— Да нет же! Призрак!

— Конечно, во фраке! — подтвердила Жамм. — Габриэль сам мне сказал. Он его по фраку и узнал. А было так. Габриэль сидел в кабинете помощника режиссёра. Вдруг открылась дверь. Вошёл Перс. Вы же знаете, у Перса «дурной глаз».

— О да! — хором откликнулись танцовщицы. Стоило им вспомнить Перса, как они тут же выставили судьбе рожки: указательный палец и мизинец вытянуты, а средний и безымянный прижаты к ладони большим.

— А Габриэль какой суеверный! — продолжала Жамм. — Но он человек вежливый, и когда видит Перса, то просто спокойно сует руку в карман и трогает ключи. Так вот, только дверь перед Персом отворилась, Габриэль одним прыжком перелетел из кресла к замку шкафа, чтобы схватиться за железо! Пролетая, он зацепился за гвоздь и разорвал полу пальто. Рванувшись к выходу, налетел лбом на вешалку и набил огромную шишку. Потом, резко отпрянув, ободрал руку о ширму у пианино. Хотел опереться на пианино, но так неудачно, что крышка упала ему на руки и придавила пальцы. Он вылетел из кабинета как безумный и так неловко побежал вниз по лестнице, что скатился на спине через все ступеньки до первого этажа. Мы с мамой как раз проходили мимо. Бросились поднимать. Весь в синяках, лицо в крови, мы перепугались. Но он тут же улыбнулся и воскликнул: «Слава Богу, что отделался так легко!» Мы стали расспрашивать, и он рассказал о своём страхе. А испугался он оттого, что за спиной Перса увидел призрака! Призрака с мёртвой головой, как описывал Жозеф Бюке.

Рассказ закончился испуганным шёпотом. Жамм добралась до конца запыхавшись: так быстро она его выпалила, будто за ней гнался сам призрак. Потом воцарилась тишина, которую вполголоса нарушила маленькая Жири, пока Сорелли, сильно взволнованная, полировала ногти.

— Жозефу Бюке лучше бы помолчать, — изрекла черносливина.

— Это почему? — спросили её.

— Так мам' считает, — ответила Мег совсем тихо, озираясь, словно боялась, что её услышат чьи-то посторонние уши.

— А почему твоя мать так считает?

— Тсс! Мам' говорит, что призрак не любит, когда его тревожат!

— А с чего она это говорит?

— Потому что... Потому что... ничего...

Эта искусная недомолвка разожгла любопытство девиц до предела. Они сгрудились вокруг маленькой Жири и стали умолять её рассказать. Они стояли локоть к локтю, склонившись одним движением мольбы и ужаса. Они заражали друг друга страхом и находили в нём острое наслаждение, от которого стыла кровь.

— Я поклялась ничего не говорить! — выдохнула Мег.

Но ей не давали покоя и так убедительно обещали хранить тайну, что Мег, стгорая от желания выложить всё, что знала, начала, не сводя глаз с двери:

— Ну вот... Это из-за ложи...

— Какой ложи?

— Ложи призрака!

— У призрака есть ложа?

При мысли, что у призрака есть собственная ложа, танцовщицы не смогли сдержать мрачной радости изумления. Они тихонько заахали. Они сказали:

— Боже мой! Рассказывай... рассказывай...

— Тише! — приказала Мег. — Это первая ложа, номер пять, вы знаете, первая ложа рядом с левой авансценой.

— Не может быть!

— Говорю вам, как есть. Мам' там билетёршей... Но вы мне клянётесь ничего не рассказывать?

— Ну да, клянёмся!

— Так вот, это ложа призрака. Туда уже больше месяца никто не ходит, кроме призрака, понятно, и администрации приказано больше никогда её не сдавать...

— А правда, что призрак туда приходит?

— Ну да...

— Значит, кто-то приходит?

— Да нет! Призрак приходит, а там никого нет.

Малышки переглянулись. Если призрак приходит в ложу, его должны видеть: ведь у него чёрный фрак и мёртвая голова. Так они и объяснили Мег, но та возразила:

— В том-то и дело! Призрака не видно. И никакого фрака у него нет, и головы тоже нет! Всё, что рассказывали про мёртвую голову и про огненную голову, враньё! Нет у него ничего... Его только слышно, когда он в ложе. Мам' его ни разу не видела, но слышала. Мам' знает, она ему программку подаёт!

Сорелли сочла нужным вмешаться:

— Малышка Жири, ты нас дурачишь.

Тогда маленькая Жири заплакала.

— Лучше бы я молчала... Если мам' узнает!.. Но Жозеф Бюке точно зря лезет не в своё дело... Это ему к несчастью... Мам' ещё вчера вечером говорила...

В этот миг в коридоре послышались тяжёлые торопливые шаги и запыхавшийся голос закричал:

— Сесиль! Сесиль! Ты здесь?

— Это голос мамы! — сказала Жамм. — Что случилось?

Она открыла дверь. В уборную ввалилась почтенная дама, сложенная как померанский гренадёр, и со стоном рухнула в кресло. Глаза её дико вращались, а лицо цвета обожжённого кирпича от этого казалось зловещим.

— Какое несчастье! — воскликнула она. — Какое несчастье!

— Что? Что такое?

— Жозеф Бюке...

— Ну, что Жозеф Бюке?

— Жозеф Бюке умер!

Уборная наполнилась возгласами, изумлёнными протестами, испуганными просьбами объяснить.

— Да... Его только что нашли повешенным в третьем подсценье! Но самое ужасное, — продолжала бедная достойная дама, задыхаясь, — самое ужасное, что машинисты, нашедшие тело, говорят, будто вокруг покойника слышалось что-то вроде погребального пения!

— Это призрак! — вырвалось у маленькой Жири словно против её воли, но она тут же спохватилась и прижала кулачки ко рту: — Нет! Нет! Я ничего не говорила! Ничего не говорила!

Вокруг неё все подруги, оцепенев от ужаса, шептали:

— Точно! Это призрак!

Сорелли побледнела.

— Я никогда не смогу произнести свою речь, — сказала она.

Мать Жамм высказала своё мнение, осушив рюмочку ликёра, оказавшуюся на столе: без призрака тут не обошлось.

Как умер Жозеф Бюке, так никогда толком и не выяснили. Следствие, беглое, не дало никаких результатов, кроме естественного вывода о самоубийстве. В «Записках директора» господин Моншармен, один из двух директоров, сменивших Дебьена и Полиньи, так рассказывает об этом случае с повешенным:

«Досадное происшествие омрачило маленький праздник, который господа Дебьен и Полиньи устроили в честь своего ухода. Я находился в директорском кабинете, когда вдруг вошёл Мерсье, администратор. Он был вне себя и сообщил, что в третьем подсценье, между фермой и декорацией из «Короля Лахора», обнаружено тело повешенного машиниста. Я воскликнул: «Идёмте снимать его!» Пока я сбегал по лестнице и спускался по стремянке, повешенный уже лишился своей верёвки!»

Вот событие, которое господин Моншармен находит вполне естественным. Человек висит на верёвке, его идут снимать, а верёвки уже нет. О, господин Моншармен нашёл очень простое объяснение. Послушайте: «Наступил час танцев, и корифейки с крысятами поспешили принять меры против дурного глаза. Вот и всё». Вы только представьте себе кордебалет, который спускается по стремянке и делит верёвку повешенного быстрее, чем это можно написать. Несерьёзно. Когда же я думаю о том, где именно нашли тело, в третьем подсценье, мне приходит в голову, что кому-то было выгодно, чтобы верёвка исчезла, сделав своё дело. Посмотрим дальше, ошибаюсь ли я в этом предположении.

Зловещая новость быстро разнеслась по всей Опере сверху донизу: Жозефа Бюке очень любили. Уборные опустели, а маленькие танцовщицы, сбившиеся вокруг Сорелли, как пугливые овцы вокруг пастуха, двинулись в фойе по плохо освещённым коридорам и лестницам, торопливо семеня розовыми ножками.

ГЛАВА II

Новая Маргарита

На первой площадке лестницы Сорелли столкнулась с графом де Шаньи, который поднимался навстречу. Обычно невозмутимый граф на сей раз был непривычно взволнован.

— А я шёл к вам, — сказал он и поклонился молодой женщине с изысканной галантностью. — Ах, Сорелли, какой вечер! А Кристина Даэ! Какой триумф!

— Быть не может! — возмутилась Мег Жири. — Полгода назад она пела, как ржавый гвоздь! Но пропустите нас, любезный граф, — добавила девчонка, шаловливо присев в реверансе. — Мы идём узнать про беднягу, которого нашли повешенным.

В эту минуту мимо спешил администратор. Услышав разговор, он резко остановился.

— Как! Вы уже знаете, барышни? — спросил он довольно грубо. — Так вот, молчите! И главное, чтобы господа Дебьен и Полины ничего не узнали. Это огорчило бы их в последний день.

Все двинулись к танцевальному фойе, где уже было не протолкнуться.

Граф де Шаньи был прав: такого гала-спектакля Опера не знала. Счастливицы, которым довелось на нём побывать, и сегодня с волнением рассказывают о нём детям и внукам. Подумайте сами: Гуно, Рейе, Сен-Санс, Массне, Гиро, Делиб поочерёдно вставляли за дирижёрский пульт и сами управляли исполнением своих сочинений. Среди певцов были, между прочим, Фор и Краусс. И в тот же вечер ошеломлённому, опьянённому Парижу открылась Кристина Даэ, чью таинственную судьбу я и хочу поведать в этой книге.

Гуно дирижировал «Похоронным маршем марионетки», Рейе — своей прекрасной увертюрой к «Сигурду», Сен-Санс — «Пляской смерти» и «Восточной грёзой», Массне — новым «Венгерским маршем», Гиро — своим «Карнавалом», Делиб — «Медленным вальсом» из «Сильвии» и пиццикато из «Коппелии». Госпожа Краусс спела болеро из «Сицилийской вечерни», мадемуазель Дениза Блок — бриндизи из «Лукреции Борджиа».

Но вся слава досталась Кристине Даэ. Она выступила сперва в отрывках из «Ромео и Джульетты». Молодая артистка пела это сочинение Гуно впервые. В Опере его тогда ещё не ставили, а Опера-Комик только что возобновила оперу, много лет назад созданную в старом Лирическом театре госпожой Карвальо. Как жаль тех, кто не слышал Кристину Даэ в роли Джульетты, не видел её простодушной грации, не вздрогнул от звуков её серафического голоса, не почувствовал, как душа взлетает вместе с её душой над могилами веронских любовников: «Господи! Господи! Господи! Прости нас!»

И всё же это было ничто рядом с тем неземным пением, которое она явила в сцене тюрьмы и в заключительном терцете «Фауста», исполняя его вместо занемогшей Ла Карлотты. Ничего подобного прежде не слышали и не видели.

Это была «новая Маргарита», открытая Даэ: Маргарита небывалого блеска и сияния, о которых никто и не подозревал.

Весь зал разразился тысячеголосым криком невыразимого волнения. Кристина рыдала и теряла силы в объятиях подруг. Её пришлось унести в уборную: она словно испустила дух. Великий критик П. де Сен-В. запечатлел память об этой чудесной минуте в статье, озаглавленной «Новая Маргарита». Как большой художник, он просто заметил, что в тот вечер эта прекрасная, нежная девочка принесла на подмостки Оперы больше, чем своё искусство. Она принесла сердце. Никто из друзей Оперы не сомневался, что сердце Кристины осталось таким же чистым, как в пятнадцать лет. П. де Сен-В. писал: «Чтобы понять, что произошло с Даэ, мне приходится предположить, что она только что полюбила впервые! Быть может, я нескромен, но лишь любовь способна на такое чудо, на такое молниеносное преображение. Два года назад мы слышали Кристину Даэ на конкурсе в консерватории, и она внушила нам милую надежду.

Откуда же сегодняшняя высота? Если она не сошла с небес на крыльях любви, мне придётся думать, что она поднялась из преисподней и Кристина, подобно мейстерзингеру Офтердингену, заключила договор с дьяволом! Кто не слышал, как Кристина поёт финальный терцет «Фауста», тот не знает «Фауста». Большой восторг голоса и более священное упоение чистой души невозможны».

Впрочем, кое-кто из абонентов возмущался. Как могли так долго скрывать от них подобное сокровище? До сих пор Кристина Даэ была вполне приличным Зибелем рядом с чересчур пышно-плотской Маргаритой Ла Карлотты. И понадобилось необъяснимое, непростительное отсутствие Карлотты на гала-вечере, чтобы малышка Даэ, выручив театр с ходу, показала всё, на что способна, в части программы, отведённой испанской диве! И как вышло, что, лишившись Карлотты, господа Дебьен и Полиньи обратились именно к Даэ? Выходит, они знали о её скрытом даре? А если знали, зачем прятали? И она сама, зачем прятала? Странно, что никакого учителя у неё не было известно. Она не раз заявляла, что отныне будет заниматься одна. Всё это выглядело необъяснимо.

Граф де Шаньи следил за этим безумием, стоя в своей ложе, и сам вносил в него лепту оглушительными аплодисментами.

Графу де Шаньи (Филипп-Жорж-Мари) было ровно сорок один год. Это был вельможа и красавец, ростом выше среднего, с приятным лицом, хотя лоб у него был жёсткий, а глаза чуть холодноваты. С женщинами он был безупречно учтив, с мужчинами слегка высокомерен, а они не всегда прощали ему светские успехи. Сердце у него было прекрасное, совесть чистая. После смерти старого графа Филибера он стал главой одного из самых славных и древних родов Франции, чья родословная восходила ко временам Людовика Сварливого. Состояние Шаньи было огромно, и когда старый граф, вдовец, умер, управление столь тяжёлым наследством оказалось для Филиппа делом нелёгким. Две его сестры и брат Рауль не пожелали слышать о разделе. Они остались в нераздельном владении и во всём положились на Филиппа, словно право старшего сына никогда не отменялось. Когда обе сестры вышли замуж (в один день), они приняли свои доли из рук брата не как то, что им причиталось, а как приданое, за которое выразили ему благодарность.

Графиня де Шаньи, урождённая де Мерже де ла Мартиньер, умерла, родив Рауля, который появился на свет через двадцать лет после старшего брата. Когда скончался старый граф, Раулю было двенадцать. Филипп горячо занялся воспитанием мальчика. Ему отлично помогали сначала сёстры, а потом старая тётка, вдова моряка, жившая в Бресте, которая привила юному Раулю вкус ко всему морскому. Юноша поступил в Морское училище, окончил его одним из первых и спокойно совершил кругосветное плавание. Благодаря влиятельным покровителям его только что назначили в официальную экспедицию «Акулы», которой поручили искать среди полярных льдов уцелевших участников экспедиции «Артуа»: о ней уже три года не было вестей. А пока он пользовался долгим отпуском, который должен был кончиться лишь через полгода. Вдовствующие дамы благородного предместья, глядя на этого миловидного, на вид хрупкого юношу, уже жалели его в предчувствии тяжких трудов, что его ждали.

Застенчивость этого моряка, я бы даже сказал, его невинность, были удивительны. Казалось, он только вчера вышел из рук женщин. Так оно и было: избалованный сёстрами и старой тёткой, он вынес из этого чисто женского воспитания почти детскую учтивость и обаяние, которого до сих пор ничто не смогло потускнить. В ту пору ему было немногим за двадцать один, а выглядел он на восемнадцать. У него были светлые усики, красивые голубые глаза и девичий румянец.

Филипп очень баловал Рауля. Прежде всего, он гордился братом и с радостью предвидел славную карьеру младшему во флоте, где один из их предков, знаменитый Шаньи де Ла Рош, дослужился до адмирала. Он пользовался отпуском юноши, чтобы показать ему Париж, которого тот почти не знал, особенно его роскошных радостей и художественных удовольствий.

Граф считал, что в возрасте Рауля чрезмерная рассудительность уже не слишком разумна. Характер у Филиппа был прекрасно уравновешенный: он был размерен и в трудах, и в удовольствиях, всегда безупречно держался и не мог подать брату дурной пример. Он брал его с собой повсюду. Он даже ввёл его в танцевальное фойе. Я знаю, поговаривали, что граф «в наилучших отношениях» с Сорелли. Но помилуйте! Разве можно было ставить в вину этому холостому дворянину, у которого, особенно после того как сёстры были пристроены, оставалось много свободного времени, что он заглядывал на час-другой после обеда к танцовщице, которая, конечно, не отличалась острым умом, зато обладала прелестнейшими глазами на свете? К тому же есть места, где настоящий парижанин такого ранга, как граф де Шаньи, обязан показываться, и в ту пору танцевальное фойе Оперы было одним из таких мест.

Впрочем, Филипп, возможно, и не повёл бы брата за кулисы Национальной академии музыки, если бы тот сам не просил его об этом не раз с кроткой настойчивостью, о которой графу предстояло вспомнить позже.

Поаплодировав в тот вечер Даэ, Филипп обернулся к Раулю и испугался, увидев, как тот бледен.

— Неужели вы не видите, — сказал Рауль, — что этой женщине плохо?

И правда, на сцене Кристину Даэ пришлось поддерживать.

— Это тебе сейчас станет дурно, — сказал граф, наклоняясь к нему. — Что с тобой?

Но Рауль уже стоял.

— Идёмте, — произнёс он дрожащим голосом.

— Куда ты хочешь идти, Рауль? — спросил граф, удивлённый волнением младшего.

— Да посмотреть! Она никогда ещё так не пела!

Граф с любопытством взглянул на брата, и в уголке его весёлых губ появилась лёгкая улыбка.

— Ну-ну... — сказал он и тут же добавил: — Идём! Идём!

Он выглядел очарованным.

Вскоре они оказались у входа для абонентов, где была давка. В ожидании, когда можно будет выйти на сцену, Рауль бессознательно рвал перчатки. Филипп, человек добрый, не насмеялся над его нетерпением. Но он всё понял. Теперь ему стало ясно, почему Рауль был рассеян, когда с ним говорили, и почему с таким удовольствием сводил любой разговор к Опере.

Они вышли на сцену.

Толпа фраков теснилась к танцевальному фойе или шла к артистическим уборным. Крики машинистов мешались с горячими речами начальников служб. Уходят статисты последней картины, толкаются «марширующие», проносят кулису, спускается с колосников задник, под ударами молотка закрепляют помост, и вечное «посторонись!» звучит в ушах как угроза новой беды для вашего цилиндра или крепкого удара по пояснице. Таковы обычные события антрактов, которые всегда смущают новичка вроде юноши со светлыми усиками, голубыми глазами и девичьим румянцем, пробиравшегося как можно быстрее сквозь толчею по сцене, где только что восторжествовала Кристина Даэ и под которой только что погиб Жозеф Бюке.

В тот вечер суматоха достигла небывалого размаха, но Рауль никогда ещё не был так мало робок. Он расталкивал всё, что стояло на пути, крепким плечом, не обращая внимания на разговоры вокруг и не пытаясь вникнуть в перепуганные речи машинистов. Он думал лишь о том, как увидеть ту, чей волшебный голос вырвал у него сердце. Да, он ясно чувствовал, что его бедное, совсем новое сердце ему больше не принадлежит. Он пытался защитить его с того дня, как Кристина, которую он знал совсем маленькой, снова появилась перед ним. Рядом с ней он испытал очень нежное волнение, которое, поразмыслив, хотел прогнать: он поклялся себе, из уважения к себе и к своей вере, любить только ту, что станет его женой, а жениться на певице он, разумеется, не мог и помыслить. Но нежное волнение сменилось ужасным ощущением. Ощущением? Чувством? В нём было и телесное, и душевное. Грудь болела, будто её

вскрыли, чтобы вынуть сердце. Он ощущал там жуткую пустоту, настоящую пропасть, которую отныне мог заполнить только чужое сердце! Это события особой психологии, понятные, как говорят, лишь тем, кого любовь поразила тем странным ударом, что в обиходе зовётся «любовью с первого взгляда».

Граф Филипп с трудом поспевал за ним. Он продолжал улыбаться.

В глубине сцены, за двойной дверью, открывающейся на ступени, ведущие в фойе, и на лестницу к левым уборным нижнего этажа, Раулю пришлось остановиться перед стайкой «крыс», только что спустившихся с чердака и запрудивших проход, куда он рвался. Несколько шуток слетело в его адрес с маленьких напомаженных губ, но он не ответил. Наконец ему удалось пробиться, и он нырнул в сумрак коридора, гудевшего восклицаниями восторженных поклонников. Одно имя перекрывало все голоса: Даэ! Даэ! Граф, шедший за Раулем, думал: «Плут знает дорогу». Ему было любопытно, откуда брат её узнал. Сам он никогда не водил Рауля к Кристине. Видимо, тот ходил один, пока граф, как обычно, болтал в фойе с Сорелли. Она часто просила его побыть рядом до выхода на сцену и порой с тиранической прихотью отдавала ему на сохранение гетры, в которых спускалась из уборной и которыми берегла блеск атласных туфель и белизну телесного трико. У Сорелли было оправдание: она потеряла мать.

Граф, отложив на несколько минут визит к Сорелли, шёл по галерее, ведущей к уборной Даэ, и видел, что коридор никогда не был так людно посещён, как сегодня, когда весь театр был потрясён и успехом артистки, и её обмороком. Прекрасное дитя ещё не пришло в себя, и за театральным врачом послали. Он как раз подросел, расталкивая группы людей, а Рауль шёл за ним по пятам.

Так врач и влюблённый оказались одновременно возле Кристины: один оказал первую помощь, а в объятиях другого она открыла глаза. Граф остался с множеством других на пороге двери, перед которой толпа задыхалась.

— Не находите ли вы, доктор, что этим господам следует немного «освободить» уборную? — с невероятной дерзостью спросил Рауль. — Здесь нечем дышать.

— Вы совершенно правы, — согласился доктор и выставил всех за дверь, кроме Рауля и горничной.

Она смотрела на Рауля глазами, расширенными самым искренним изумлением. Она никогда его не видела.

Однако расспрашивать не осмелилась.

А доктор решил, что раз молодой человек так себя ведёт, значит, имеет на это право. И виконт остался в уборной созерцать Даэ, возвращавшуюся к жизни, а оба директора, сами господа Дебьен и Полиньи, пришедшие выразить восхищение своей воспитаннице, были оттеснены в коридор вместе с прочими фраками. Граф де Шаньи, отброшенный, как и все, в коридор, хохотал во всё горло.

— Ах, плут! Ах, плут!

И добавлял про себя: «Доверяйтесь после этого юнцам, что корчат из себя девочек!»

Он был в восторге. Он заключил: «Это Шаньи!» — и направился к уборной Сорелли. Но та спускалась в фойе со своим трепещущим от страха стадом, и граф встретил её по дороге, как уже было рассказано.

В уборной Кристина Даэ глубоко вздохнула, и вздоху ответил стон. Она повернула голову, увидела Рауля и вздрогнула. Взглянула на доктора, которому улыбнулась, потом на горничную, потом снова на Рауля.

— Сударь, — спросила она его голосом, который был ещё лишь дыханием, — кто вы?

— Мадемуазель, — ответил юноша, опустившись на одно колено и горячо поцеловав руку дивы, — мадемуазель, я тот маленький мальчик, что бросился в море за вашим шарфом.

Кристина снова посмотрела на доктора и на горничную, и все трое рассмеялись. Рауль поднялся, весь красный.

— Мадемуазель, если вам угодно меня не узнавать, я хотел бы сказать вам кое-что наедине, кое-что очень важное.

— Когда мне станет лучше, сударь, хорошо? — Голос её дрожал. — Вы очень милы...

— Но вам пора уйти, — добавил доктор с самой любезной улыбкой. — Позвольте мне заняться мадемуазель.

— Я не больна, — вдруг сказала Кристина с энергией, столь же странной, сколь неожиданной.

И она встала, быстрым движением проведя рукой по векам.

— Благодарю вас, доктор! Мне нужно остаться одной... Уходите все, прошу вас... оставьте меня... Я сегодня очень взвинчена...

Врач хотел возразить, но, видя возбуждение молодой женщины, решил, что лучшее лекарство в таком состоянии — не перечить ей. Он вышел вместе с Раулем, который оказался в коридоре в полной растерянности. Доктор сказал ему:

— Я её сегодня не узнаю... Она, обычно такая кроткая...

И простился с ним.

Рауль остался один. Эта часть театра теперь опустела. В танцевальном фойе должна была начаться церемония прощания. Рауль подумал, что Даэ, возможно, пойдёт туда, и стал ждать в одиночестве и тишине. Он даже спрятался в спасительной тени дверной ниши. Страшная боль на месте сердца не отпускала. Об этом он и хотел немедленно говорить с Даэ. Вдруг дверь уборной отворилась, и он увидел горничную, которая уходила одна, унося свёртки. Он остановил её на ходу и спросил о здоровье госпожи. Она со смехом ответила, что та совсем поправилась, но тревожить её не надо, потому что она хочет побыть одна. И убежала. В пылающую голову Рауля пришла мысль: конечно, Даэ хочет остаться одна ради него! Разве не сказал он ей, что желает поговорить наедине, и не потому ли она выставила всех? Едва дыша, он подошёл к её уборной, приник ухом к двери, чтобы услышать, что ему ответят, и приготовился постучать. Но рука его опустилась. Он вдруг различил в уборной мужской голос, говоривший с поразительно властной интонацией:

— Кристина, вы должны любить меня!

И голос Кристины, скорбный, дрожащий, в котором слышались слёзы, ответил:

— Как вы можете говорить мне это? Я пою только для вас!

Рауль прислонился к панели, так ему было больно. Сердце, которое, как он думал, ушло навсегда, вернулось в грудь и бешено колотилось. Весь коридор отзывался эхом, и у Рауля оглушительно звенело в ушах. Конечно, если сердце не уймётся, его услышат, откроют дверь, и юношу позорно выгонят. Какое положение для Шаньи! Подслушивать под дверью! Он схватил сердце обеими руками, чтобы заставить его замолчать. Но сердце не собачья пасть: даже если держишь пасть обеими руками (а собака нестерпимо лает), всё равно слышишь, как она рычит.

Мужской голос продолжил:

— Вы, должно быть, очень устали?

— О, сегодня я отдала вам свою душу, и я мертва.

— Душа твоя прекрасна, дитя моё, — снова отозвался низкий мужской голос, — и я благодарю тебя. Ни один император не получал такого дара! Сегодня плакали ангелы.

После слов «сегодня плакали ангелы» виконт больше ничего не слышал.

Однако он не ушёл, а, боясь, что его застанут, отступил в свой тёмный угол, решив дожидаться, пока этот человек не покинет уборную. В тот же час он узнал любовь и ненависть. Он знал, что любит. Хотел узнать, кого ненавидит. К его великому изумлению, дверь распахнулась, и Кристина Даэ, закутанная в меха, с лицом, скрытым под кружевом, вышла одна. Она затворила дверь, но Рауль заметил, что на ключ не заперла. Она прошла мимо. Он даже не проводил её взглядом: глаза его были прикованы к двери, которая не открывалась. Когда коридор

снова опустел, он пересёк его. Открыл дверь уборной и тут же закрыл её за собой. Он оказался в крошечной темноте. Газ погасили.

— Здесь кто-то есть! — воскликнул Рауль звенящим голосом. — Почему он прячется? Говоря это, он по-прежнему прижимался спиной к закрытой двери.

Ночь и тишина. Рауль слышал лишь собственное дыхание. Он, конечно, не отдавал себе отчёта в том, что бестактность его поступка превосходит всё, что можно вообразить.

— Вы выйдете отсюда лишь тогда, когда я разрешу! — крикнул юноша. — Если не ответите, вы трус! Но я сумею вас разоблачить!

И он чиркнул спичкой. Пламя осветило уборную. В ней никого не было! Рауль, предусмотрительно заперев дверь на ключ, зажёл рожки и лампы. Он вошёл в туалетную комнату, открыл шкафы, искал, ощупывал стены влажными руками. Ничего!

— Ну и ну, — сказал он вслух. — Я что, схожу с ума?

Он стоял так десять минут, слушая шипение газа в тишине опустевшей уборной. Влюблённый, он даже не подумал украсть ленточку, которая принесла бы ему аромат любимой. Он вышел, не понимая, что делает и куда идёт. В какой-то миг его беспорядочных блужданий ледяной воздух ударил ему в лицо. Он оказался у подножия узкой лестницы, по которой за ним спускалась вереница рабочих, склонившихся над чем-то вроде носилок, прикрытых белой простынёй.

— Где здесь выход, будьте добры? — спросил он одного из них.

— Да вот же, прямо перед вами! — ответили ему. — Дверь открыта. Но пропустите нас.

Он машинально спросил, указывая на носилки:

— Что это?

Рабочий ответил:

— Это Жозеф Бюке, которого нашли повешенным в третьем подсенье, между кулисой и декорацией из «Короля Лахора».

Он посторонился перед процессией, поклонился и вышел.

ГЛАВА III

в которой господа Дебьен и Полиньи впервые, по секрету, открывают новым директорам Оперы, господам Арману Моншармену и Фирмену Ришару, истинную и таинственную причину своего ухода из Национальной академии музыки

Тем временем в фойе шла церемония прощания.

Я уже говорил, что этот великолепный праздник Дебьен и Полиньи задумали в честь своего ухода из Оперы. Им хотелось умереть, как мы теперь выражаемся, красиво. Осуществить эту идеальную, почти траурную программу им помогли все, кто в ту пору что-либо значил в парижском обществе и в искусстве.

Весь этот круг собрался в танцевальном фойе. Там Сорелли, с бокалом шампанского в руке и заготовленной речью на кончике языка, поджидала уходящих директоров. За её спиной теснились подруги по кордебалету, и юные, и немолодые. Одни вполголоса обсуждали события дня, другие украдкой подавали знаки поклонникам. Болтливая толпа этих господ уже обступила буфет, накрытый на наклонном паркете между «Воинственным танцем» и «Сельским танцем» кисти господина Буланже.

Кто-то из танцовщиц уже переоделся в выходные платья, большинство же оставалось в лёгких газовых юбках, но все постарались придать себе вид, приличествующий случаю. Одна лишь малютка Жамм, чьи пятнадцать весен по беспечности (счастливый возраст!) успели, как видно, выветрить из головы и призрака, и смерть Жозефа Бюке, не умолкала ни на минуту: трещала, щебетала, подпрыгивала и озорничала. Когда на ступенях фойе показались Дебьен и Полиньи, нетерпеливая Сорелли строго её одёрнула.

Все заметили, что уходящие директора веселы. В провинции это сочли бы странным, но в Париже нашли весьма хорошим тоном. Не станет парижанином тот, кто не выучился надевать маску радости поверх своих горестей, а на тайное ликование набрасывать полумаску печали, скуки или безразличия. Если вы знаете, что приятель в беде, не пытайтесь его утешать: он скажет, что давно утешился. А если с ним случилось что-то радостное, не спешите поздравлять: он сочтёт удачу столь естественной, что удивится, зачем о ней говорят. В Париже вечно длится бал-маскарад, и уж в танцевальном фойе такие искушённые люди, как господа Дебьен и Полиньи, не совершили бы ошибки, выдав своё горе, а оно было неподдельным. Они улыбались Сорелли даже чересчур щедро. Она уже начала речь, когда выкрик сумасбродки Жамм так грубо разбил директорские улыбки, что из-под них проглянуло лицо, полное отчаяния и ужаса, и все это увидели:

— Призрак Оперы!

Жамм выпалила это тоном невыразимого страха, а палец её указывал в толпе чёрных фраков на лицо столь бледное, мрачное и безобразное, с такими глубокими чёрными провалами глазниц, что эта мёртвая голова мгновенно имела бешеный успех.

— Призрак Оперы! Призрак Оперы!

Все смеялись, толкались, рвались угостить призрака Оперы вином, но он исчез! Он скользнул в толпу, и его тщетно искали. Двое старых господ пытались успокоить малютку Жамм, а маленькая Жири вопила, как павлин.

Сорелли была вне себя: ей так и не дали закончить речь. Дебьен и Полиньи расцеловали её, поблагодарили и удалились быстрее самого призрака. Никто не удивился: все знали, что такую же церемонию им предстоит пройти этажом выше, в певческом фойе, а потом в последний раз принять близких друзей в большой приёмной директорского кабинета, где их ждал настоящий ужин.

Там мы и встретим их вместе с новыми директорами, господами Арманом Моншарменом и Фирменом Ришаром. Прежние едва знали новых, но рассыпались в уверениях дружбы, а те

отвечали тысячей любезностей. Гости, опасавшиеся унылого вечера, тотчас просияли. Ужин вышел почти весёлым. Поводов для тостов нашлось немало, и правительственный комиссар оказался в них особенно искусен: он сплетал славу прошлого с успехами будущего, и вскоре за столом воцарилась самая сердечная атмосфера. Передача директорских полномочий состоялась накануне, самым простым образом, а оставшиеся вопросы между прежней и новой дирекцией были решены под председательством правительственного комиссара в таком обоюдном стремлении к согласию, что в этот памятный вечер никого не могли удивить четыре улыбающихся директорских лица.

Дебьен и Полиньи уже передали Арману Моншармену и Фирмену Ришару два крошечных ключа-отмычки, открывавших все двери Национальной академии музыки (а их там несколько тысяч). Эти ключики, предмет всеобщего любопытства, весело ходили по рукам. Но внимание кое-кого отвлекла находка: на дальнем конце стола они вдруг заметили странное, бледное, фантастическое лицо с запавшими глазами. Оно уже мелькало в танцевальном фойе, и малютка Жамм приветствовала его возгласом: «Призрак Оперы!»

Он сидел там как самый естественный из гостей, разве что не ел и не пил.

Те, кто сперва поглядывал на него с усмешкой, в конце концов отводили глаза: от этого зрелища мысли сразу уходили к самому погребальному. Никто не повторил шутки из фойе, никто не крикнул: «Вот он, призрак Оперы!»

Он не произнёс ни слова, и даже соседи не могли бы сказать, в какой миг он тут уселся. Но каждый подумал, что если мёртвые и впрямь порой садятся за стол к живым, то лица страшнее им не найти. Друзья господ Ришара и Моншармена решили, что этот иссохший гость близок Дебьену и Полиньи, а друзья Дебьена и Полиньи решили, что мертвец из числа знакомых Ришара и Моншармена. Поэтому никто не потребовал объяснений, никто не отпустил неприятного замечания и не позволил себе дурной шутки, способной задеть пришельца из загробного мира. Несколько гостей, знавших легенду о призраке и описание старшего машиниста (о смерти Бюке они ещё не слышали), мысленно отметили, что человек в конце стола вполне сошёл бы за живое воплощение образа, порождённого, по их мнению, неистребимым суеверием оперной братии. Правда, по легенде, у призрака не было носа, а у этого нос был. Но господин Моншармен утверждает в своих «Записках», что нос гостя был прозрачным: «Нос у него был длинный, тонкий и прозрачный». Добавлю, что это вполне мог быть накладной нос. Господин Моншарменом мог принять за прозрачность то, что было лишь блеском. Всякий знает, что наука изготавливает превосходные накладные носы для тех, кого природа или хирургическая операция их лишила. А приходил ли призрак в ту ночь на директорский ужин без приглашения? И можем ли мы быть уверены, что это лицо принадлежало самому призраку Оперы? Кто осмелится ответить? Я упоминаю об этом случае вовсе не затем, чтобы хоть на секунду внушить читателю, будто призрак способен на такую блистательную дерзость. Но дело в том, что это вполне возможно.

И вот, кажется, достаточное основание. Господин Арман Моншармен в тех же «Записках» (глава XI) пишет дословно: «Когда я вспоминаю тот первый вечер, я не могу отделить признание, которое сделали нам в своём кабинете господа Дебьен и Полиньи, от присутствия на нашем ужине этой призрачной личности, которую никто из нас не знал».

Вот что произошло в точности.

Дебьен и Полиньи сидели посреди стола и ещё не замечали человека с мёртвой головой, как вдруг тот заговорил сам:

— Крысята правы, — сказал он. — Смерть бедняги Бюке, пожалуй, не так естественна, как принято считать.

Дебьен и Полиньи вздрогнули.

— Бюке умер? — воскликнули они.

— Да, — спокойно ответил человек или тень человека. — Его нашли повешенным сегодня вечером в третьем подценье, между фермой и декорацией из «Короля Лахора».

Оба директора, а точнее, бывших директора, тотчас вскочили и странно уставились на собеседника. Они были взволнованы сильнее, чем положено, то есть сильнее, чем бывают взволнованы известием о повешении старшего машиниста. Они переглянулись. Они стали белее скатерти. Наконец Дебьен подал знак господам Ришару и Моншармену, Полиньи пробормотал гостям несколько извинений, и все четверо прошли в директорский кабинет. Далее слово господину Моншармену.

«Дебьен и Полиньи казались всё более взволнованными, — рассказывает он в своих записках. — Нам почудилось, что им нужно сообщить нам нечто, что их сильно смущает. Сначала они спросили, знаем ли мы человека, сидящего в конце стола, который сообщил им о смерти Жозефа Бюке. Когда мы ответили, что не знаем, они смутились ещё больше. Они взяли у нас из рук отмычки, на миг присмотрелись к ним, покачали головами, а потом посоветовали в глубочайшей тайне поставить новые замки на те помещения, кабинеты и вещи, которые мы пожелаем запереть наглухо. Они говорили это так забавно, что мы рассмеялись и спросили, неужели в Опере водятся вору. Они ответили, что есть нечто хуже, а именно призрак. Мы снова рассмеялись, уверенные, что это розыгрыш, призванный увенчать их маленький интимный праздник. Но по их просьбе мы вернули себе «серьёзность», решив ради них вступить в эту игру. Они сказали, что никогда не заговорили бы с нами о призраке, если бы не получили от самого призрака категорический приказ: побудить нас быть с ним любезными и исполнять всё, о чём он попросит. Однако они были несказанно рады покинуть владение, где властвовала эта тираническая тень, и разом от неё избавиться, и потому до последней минуты колебались, не решаясь поведать нам столь необычную историю, к которой наши скептические умы наверняка не были готовы. Но известие о смерти Жозефа Бюке грубо напомнило им, что всякий раз, когда они не исполняли желаний призрака, какое-нибудь причудливое или злоеущее происшествие быстро возвращало их к сознанию своей зависимости».

Пока звучали эти неожиданные речи, произнесённые тоном самого тайного и самого важного признания, я смотрел на Ришара. В студенческие годы Ришар слыл шутником: он знал тысячу и один способ подтрунивать над ближним, и консьержи с бульвара Сен-Мишель могли бы об этом порассказать. Теперь ему, судя по всему, пришлось по вкусу шутка, которой потчевали его самого. Он не упускал ни крошки, хотя приправа была немного похоронной из-за смерти Бюке. Он печально кивал, и лицо его по мере того, как говорили другие, становилось скорбным, как у человека, который горько сожалеет о своём деле с Оперой теперь, когда узнал, что в ней водится призрак. Лучшее, что я мог сделать, это рабски скопировать это отчаянное выражение. Но, несмотря на все старания, в конце концов мы не удержались и прыснули прямо в лицо Дебьену и Полиньи. Те, видя, что мы без перехода перешли от самого мрачного настроения к самой наглой весёлости, сделали вид, будто решили, что мы сошли с ума.

Фарс затянулся, и Ришар спросил с лукавой неопределённостью: «Да чего же он хочет, этот ваш призрак?»

Полиньи подошёл к своему столу и вернулся с копией свода обязательств.

Свод обязательств начинается словами: «Дирекция Оперы обязана придавать представлениям Национальной академии музыки блеск, подобающий первой французской лирической сцене», а заканчивается статьёй 98 в такой редакции:

«Настоящая привилегия может быть отозвана:

1° Если директор нарушит положения, оговорённые в своде обязательств».

Далее шли эти положения.

Копия, говорит господин Моншармен, была написана чёрными чернилами и полностью совпадала с той, что имела у нас.

Однако мы заметили, что в своде, который показал нам Полиньи, в самом конце был абзац, написанный красными чернилами. Почерк был странный, мучительно корявый, словно выведенный обломками спичек: почерк ребёнка, который так и не перестал рисовать палочки и ещё не умеет соединять буквы. Этот абзац, так причудливо удлинявший статью 98, гласил дословно:

5° Если директор задержит более чем на пятнадцать дней ежемесячную выплату, причитающуюся призраку Оперы, каковая выплата впредь до нового распоряжения устанавливается в размере 20 000 франков, то есть 240 000 франков в год.

Полиньи нерешительным пальцем показал нам этот высший пункт, которого мы уж никак не ожидали.

— И это всё? Больше ему ничего не нужно? — спросил Ришар с величайшим хладнокровием.

— Нужно, — ответил Полиньи.

И он снова полистал свод и прочёл:

«Ст. 63. Большая правая авансцена бельэтажа, ложа № 1, резервируется на все представления для главы государства.

Бенуар № 20 по понедельникам и ложа бельэтажа № 30 по средам и пятницам предоставляются министру.

Ложа второго яруса № 27 резервируется на каждый день для префектов Сены и полиции».

И в конце этой статьи Полиньи показал нам строку красными чернилами, дописанную к ней.

Ложа бельэтажа № 5 предоставляется на все представления в распоряжение призрака Оперы.

После этого последнего удара нам оставалось только встать и горячо пожать руки обоим предшественникам, поздравив их с этой очаровательной шуткой, доказывающей, что старая французская весёлость никогда не теряет своих прав. Ришар даже счёл нужным добавить, что теперь ему понятно, почему господа Дебьен и Полиньи покидают дирекцию Национальной академии музыки: вести дела с таким требовательным призраком невозможно.

— Разумеется, — не моргнув глазом ответил Полиньи. — Двести сорок тысяч франков на дороге не валяются. А вы подсчитали, во что нам обходится пустующая ложа № 5, которую на все спектакли оставляют призраку? Не говоря уж о том, что нам пришлось вернуть деньги за абонемент на неё. Это ужасно! Мы не для того работаем, чтобы содержать привидений! Лучше уйти!

— Да, — подхватил Дебьен, — лучше уйти! Уйдём!

И он встал.

Ришар сказал:

— Но, право, мне кажется, вы чересчур добры к этому призраку. Будь у меня такой докучливый призрак, я бы не раздумывая велел его арестовать.

— Где? Как? — вскричали они хором. — Мы же его никогда не видели!

— А когда он приходит в свою ложу?

— В ложе мы его тоже не видели.

— Тогда сдайте её.

— Сдать ложу призрака Оперы! Ну так попробуйте, господа!

На этом мы все четверо вышли из директорского кабинета. Мы с Ришаром ещё никогда в жизни так не смеялись».

ГЛАВА IV

Ложь № 5

Арман Моншармен написал такие объёмистые мемуары, что, особенно в части, посвящённой довольно долгому периоду его соуправления, невольно спрашиваешь себя: находил ли он вообще время заниматься Оперой, кроме как описывать её жизнь? Моншармен не знал ни одной ноты, зато был на «ты» с министром народного просвещения и изящных искусств, немного поработал в бульварной журналистике и обладал изрядным состоянием. Словом, это был славный малый, и умом бог его не обидел: решив вложить деньги в Оперу, он сумел выбрать того, кто будет ею с толком управлять, и пошёл напрямик к Фирмену Ришару.

Фирмен Ришар был музыкантом незаурядным и человеком порядочным. Вот его портрет, набросанный «Театральным обозрением» в день вступления в должность: «Господину Фирмену Ришару около пятидесяти лет. Он высок, крепок в шее, но не грузен. Осанист и благороден, румян, волосы растут густо и низко и подстрижены ёжиком, борода под стать волосам. В облике его есть нечто печальное, но это тотчас смягчается прямым, открытым взглядом и очаровательной улыбкой.

Господин Фирмен Ришар — музыкант тонкий. Искусный гармонист, учёный контрапунктист, он в своих сочинениях более всего ценит величие. Он издал камерную музыку, высоко оцениваемую знатоками, фортепианные сонаты и мимолётные пьесы, полные оригинальности, сборник романсов. Наконец, его «Смерть Геракла», исполненная на концертах Консерватории, дышит эпическим размахом, напоминая Глюка, одного из чтимых учителей господина Ришара. Однако, обожая Глюка, он не меньше любит и Пиччини: господин Ришар берёт удовольствие там, где его находит. Восхищаясь Пиччини, он преклоняется перед Мейербером, наслаждается Чимарозой, и никто лучше него не ценит несравненный гений Вебера. Что до Вагнера, господин Ришар недалёк от утверждения, что он, Ришар, первым во Франции, а может быть, и единственным его понял».

На этом я обрываю цитату. Из неё довольно ясно следует: если господин Фирмен Ришар любил почти всю музыку и всех музыкантов, то долгом всех музыкантов было любить господина Фирмена Ришара. Добавим, чтобы закончить этот беглый портрет, что Ришар был, как принято выражаться, человеком властным, иначе говоря, характер у него был прескверный.

Первые дни, проведённые компаньонами в Опере, прошли в радости от сознания, что они хозяева столь обширного и прекрасного предприятия. Они, верно, успели позабыть странную, диковинную историю с призраком, когда случилось происшествие, показавшее, что если это и розыгрыш, то он ещё не окончен.

В то утро господин Фирмен Ришар пришёл в кабинет в одиннадцать. Секретарь, господин Реми, показал ему полдюжины писем, которых не вскрывал, потому что на них стояла пометка «лично». Одно из них сразу привлекло внимание Ришара: не только потому, что адрес был выведен красными чернилами, но и потому, что почерк показался ему где-то виденным. Вспоминать долго не пришлось: это был тот самый красный почерк, которым так странно дополнили свод обязательств. Он узнал палочный, детский рисунок букв. Он вскрыл конверт и прочёл:

«Дорогой директор!

Прошу простить, что тревожу вас в столь драгоценные минуты, когда вы решаете судьбу лучших артистов Оперы, возобновляете важные контракты и заключаете новые. Делаете вы это с такой зоркостью, таким чутьём театра, такой наукой угадывать публику и её вкусы, такой властью, что моя старая опытность едва не онемела. Мне известно, что вы только что сделали для Карлотты, Сорелли и малышки Жамм, а также для некоторых других, чьи замечательные качества, талант или гений вы угадали. (Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. Разумеется, не о Карлотте, которая поёт, как клистирная трубка, и никогда не должна была покидать

«Амбассадёр» и кафе Жакен. И не о Сорелли, которой успех приносит главным образом её каретная статья. И не о малышке Жамм, которая пляшет, как телёнок на лугу. И не о Кристине Даэ, чей гений несомненен, но которую вы с ревливой заботой держите вдали от всякой значительной премьеры.) Впрочем, вы вольны вести своё маленькое дельце, как заблагорассудится, не так ли? И всё же мне хотелось бы воспользоваться тем, что вы ещё не выставили Кристину Даэ за дверь, и услышать её сегодня вечером в роли Зибеля, раз уж Маргарита после недавнего триумфа ей, как видно, заказана. Поэтому прошу вас не распорядиться моей ложей ни сегодня, ни в последующие дни. Не могу закончить письмо, не признавшись, как неприятно я был удивлён на днях, придя в Оперу и узнав, что мою ложу сдали в кассе по вашему приказу.

Я не стал протестовать: во-первых, потому что я враг скандала, а во-вторых, потому что решил, будто ваши предшественники, господа Дебьен и Полиньи, всегда со мной любезные, забыли перед уходом рассказать вам о моих маленьких причудах. Но теперь я получил от Дебьена и Полиньи ответ на мой запрос. Из него ясно, что вам известен мой свод обязательств, а значит, вы возмутительно надо мной издеваетесь. Если хотите жить со мной в мире, начинать с отнятия у меня ложи не следует! С учётом этих небольших замечаний прошу считать меня, дорогой директор, вашим покорнейшим и преданнейшим слугой.

Подпись: П. Оперы».

К письму была приложена вырезка из «маленькой переписки» «Театрального журнала»: «П. О.: Р. и М. непростительны. Мы предупредили их и оставили им в руках ваш свод обязательств. Привет!»

Господин Фирмен Ришар едва дочитал, как дверь кабинета отворилась и вошёл господин Арман Моншармен с письмом в руке, точь-в-точь таким же, как у компаньона. Они посмотрели друг на друга и расхохотались.

— Шутка продолжается, — сказал Ришар, — но смешной её не назовёшь!

— Что это значит? — спросил Моншармен. — Неужели они думают, что раз были директорами Оперы, то мы им теперь пожизненно отдадим ложу?

Ни тому, ни другому не приходило в голову, что оба послания могут быть чем-то иным, кроме плода шутовского сговора предшественников.

— Я не расположен долго позволять над собой потешаться! — заявил Фирмен Ришар.

— Это безобидно, — заметил Арман Моншармен. — В конце концов, чего они хотят? Ложу на сегодняшний вечер?

Фирмен Ришар велел секретарю отправить ложу № 5 господам Дебьену и Полиньи, если она не сдана.

Она не была сдана и была доставлена немедленно. Дебьен жил на углу улицы Скриб и бульвара Капуцинок, Полиньи на улице Обер. Оба письма «призрака П. Оперы» опустили в почтовом отделении на бульваре Капуцинок. Это заметил Моншармен, разглядывая конверты.

— Видишь! — сказал Ришар.

Они пожали плечами и посетовали, что люди столь почтенных лет всё ещё забавляются такими невинными играми.

— Могли бы быть и повежливее! — заметил Моншармен. — Ты видел, как они отозвались о Карлотте, Сорелли и малышке Жамм?

— Милый мой, эти люди больны ревностью! Подумать только, они дошли до того, что оплатили заметку в «Театральном журнале»! Неужели им больше нечего делать?

— Кстати, — добавил Моншармен, — они, похоже, очень интересуются малышкой Кристиной Даэ.

— Ты знаешь не хуже меня, что слывет она девушкой скромной, — ответил Ришар.

— Репутацию так часто крадут, — возразил Моншармен. — Вот меня считают знатоком музыки, а я не отличаю скрипичного ключа от басового.

— Такой репутации у тебя никогда не было, — заявил Ришар. — Успокойся.

После этого Фирмен Ришар велел курьеру впустить артистов, которые уже два часа прогуливались по большому коридору администрации в ожидании, когда откроется директорская дверь: за ней их ждали слава и деньги, а то и расчёт.

Весь день ушёл на споры, переговоры, подписание и расторжение контрактов. Поэтому, поверьте, в тот вечер, 25 января, оба директора, измученные тяжким днём гнева, интриг, рекомендаций, угроз, клятв в любви и ненависти, легли спать рано, не удосужившись заглянуть в ложу № 5 и узнать, нравится ли спектакль Дебьену и Полиньи. Опера не простаивала с отъезда прежней дирекции, и Ришар распорядился провести кое-какие необходимые работы, не прерывая спектаклей.

Наутро в почте Ришара и Моншармена оказалась, во-первых, благодарственная карточка от призрака:

«Дорогой директор!

Благодарю. Очаровательный вечер. Даэ восхитительна. Займитесь хорами. Карлотта — великолепный и банальный инструмент. Вскоре напишу вам насчёт 240 000 франков, точнее, 233 424 франков 70 сантимов: господа Дебьен и Полиньи прислали мне 6 575 франков 30 сантимов, то есть пансион за первые десять дней этого года, ведь их привилегия закончилась десятого вечером.

Слуга ваш.

П. О.»

А во-вторых, письмо от Дебьена и Полиньи:

«Милостивые государи!

Благодарим за любезное внимание, но вы легко поймёте, что перспектива вновь услышать «Фауста», как бы сладостна она ни была бывшим директорам Оперы, не заставит нас забыть, что на ложу № 5 бельэтажа мы не имеем никакого права: она принадлежит исключительно тому, о ком мы имели случай вам говорить, перечитывая вместе с вами в последний раз свод обязательств, последний абзац статьи 63.

Примите уверения и проч.»

— Ну, эти люди начинают меня раздражать! — яростно заявил Фирмен Ришар, вырывая письмо Дебьена и Полиньи.

В тот вечер ложа № 5 была сдана.

На следующий день, придя в кабинет, Ришар и Моншармен нашли рапорт инспектора о событиях минувшего вечера в ложе № 5. Вот главный отрывок этого краткого рапорта:

«Мне пришлось, — пишет инспектор, — вечером (инспектор составил рапорт накануне вечером) вызвать муниципального гвардейца, чтобы дважды, в начале и в середине второго акта, очистить ложу № 5. Занимавшие её (они пришли в начале второго акта) устроили настоящий скандал смехом и нелепыми замечаниями. Со всех сторон вокруг раздавались «тише!», зал начинал протестовать, и тут ко мне пришла билетёрша. Я вошёл в ложу и сделал необходимые замечания. Эти люди, видимо, были не вполне в здравом рассудке и говорили мне глупости. Я предупредил их, что если скандал повторится, мне придётся очистить ложу. Едва я ушёл, как снова услышал их смех и протесты зала. Я вернулся с муниципальным гвардейцем, и тот их вывел. Они возражали, всё так же смеясь, и заявили, что не уйдут, пока им не вернут деньги. Наконец они успокоились, и я позволил им вернуться в ложу. Тотчас смех возобновился, и на этот раз я выдворил их окончательно».

— Позвать инспектора, — крикнул Ришар секретарю, который прочёл рапорт первым и уже пометил его синим карандашом.

Секретарь, господин Реми (двадцать четыре года, тонкие усики, элегантен, изыскан, всегда при полном параде: в ту пору сюртук днём был обязателен; умён и робок перед директором; жалованье две тысячи четыреста в год, платит директор; просматривает газеты, отвечает на письма, раздаёт ложи и контрамарки, назначает встречи, беседует с ожидающими в приём-

ной, бегают к заболевшим артистам, ищет дублёров, переписывается с начальниками служб, но прежде всего служит засовом директорского кабинета; его без всякой компенсации можно выставить за дверь в любой день, ибо администрацией он не признан), — секретарь, уже послав за инспектором, велел впустить его.

Инспектор вошёл, слегка встревоженный.

— Расскажите, что произошло, — резко бросил Ришар.

Инспектор тотчас забормотал и сослался на рапорт.

— Но почему же они смеялись? — спросил Моншармен.

— Господин директор, они, видно, хорошо пообедали и были скорее расположены дурачиться, чем слушать хорошую музыку. Ещё при входе, едва переступив порог ложи, они выскочили обратно и позвали билетёршу, которая спросила, в чём дело. Они сказали: «Загляните в ложу, там никого нет, верно?» — «Нет», — ответила билетёрша. — «Так вот, — заявили они, — когда мы вошли, мы услышали голос, сказавший, что там кто-то есть».

Господин Моншармен не мог взглянуть на Ришара без улыбки, но Ришар не улыбался. Он когда-то слишком усердно «работал» в этом жанре, чтобы не распознать в простодушном рассказе инспектора все приметы одной из тех злых шуток, что сперва забавляют жертв, а потом доводят их до бешенства.

Инспектор, желая подольститься к улыбающемуся Моншармену, решил улыбнуться тоже. Несчастливая улыбка! Взгляд Ришара испепелил служащего, и тот поспешил изобразить на лице страшную подавленность.

— Итак, когда эти люди пришли, в ложе никого не было? — спросил грозный Ришар, рыча.

— Никого, господин директор! Никого! Ни в ложе справа, ни в ложе слева, клянусь вам! Руку в огонь положу! Это-то и доказывает, что всё это лишь шутка.

— А что сказала билетёрша?

— О, билетёрша, это очень просто: говорит, что это призрак Оперы. Вот так!

И инспектор хихикнул. Но тут же понял, что хихикать не стоило: едва он произнёс слова «говорит, что это призрак Оперы!», как лицо Ришара из мрачного стало свирепым.

— Пусть приведут мне билетёршу! — приказал он. — Немедленно! И выставить за дверь всех этих людей!

Инспектор хотел возразить, но Ришар заткнул ему рот грозным «Молчать!». А когда губы несчастного подчинённого, казалось, сомкнулись навсегда, господин директор велел им открыться снова.

— Что такое «призрак Оперы»? — решился он наконец спросить, рыча.

Но инспектор уже не мог выдать ни слова. Отчаянной мимикой он дал понять, что ничего об этом не знает, а вернее, знать не хочет.

— А вы его видели, призрака Оперы?

Энергичным движением головы инспектор отрицал, что видел.

— Тем хуже! — холодно заявил Ришар.

Инспектор выкатил огромные глаза, чтобы спросить, почему господин директор произнёс это зловещее «тем хуже!».

— Потому что я рассчитаю всех, кто его не видел! — объяснил директор. — Раз он повсюду, то недопустимо, чтобы его не замечали нигде. Я люблю, чтобы служили как следует!

ГЛАВА V

Продолжение «Ложь № 5»

Сказав своё слово, Ришар забыл об инспекторе и занялся делами с только что вошедшим администратором. Инспектор решил, что можно улизнуть, и тихо-тихо, о Боже, как тихо!.. стал пятиться к двери. Но Ришар заметил этот манёвр и пригвоздил беднягу к месту громовым: «Не двигаться!»

Господин Реми послал за билетёршей. Она служила ещё и консьержкой на улице Прованс, в двух шагах от Оперы, и вскоре появилась.

— Как вас зовут?

— Мамаша Жири. Вы меня знаете, господин директор. Я мать малышки Жири, малышки Мег, ну!

Это было сказано грубо и торжественно, и на миг даже подействовало на Ришара. Он оглядел мамашу Жири: линиялая шаль, стоптанные башмаки, старое тафтяное платье, шляпка цвета сажи. По тому, как держался директор, было ясно: он знать не знает мамашу Жири, не помнит и малышку Жири, «и даже малышку Мег!». Но гордость мамы Жири была такова, что знаменитая билетёрша воображала, будто её знает весь свет. (Кажется, от её фамилии пошло известное словцо кулисного жаргона «жирьи». Пример: актриса упрекает подругу в сплетнях и пересудах и говорит: «Всё это жирьи».)

— Не знаю такую! — наконец провозгласил директор. — Но всё же, мамаша Жири, мне хотелось бы выяснить, что случилось вчера вечером, отчего вам с господином инспектором пришлось звать муниципального гвардейца.

— Да я как раз затем и пришла, господин директор, чтобы вам рассказать, и чтоб с вами не вышло тех же неприятностей, что с господами Дебьеном и Полинью. Они поначалу тоже слушать меня не желали.

— Я не об этом вас спрашиваю. Я спрашиваю, что случилось вчера вечером!

Мамаша Жири побагровела от возмущения. Таким тоном с ней ещё никто не разговаривал. Она поднялась, словно собираясь уйти, подобрала складки юбки и с достоинством потрянула перьями своей сажевой шляпки. Но передумала, села и сказала сварливо:

— Случилось то, что опять донимали призрака!

Ришар готов был взорваться, но вмешался Моншармен и взял допрос в свои руки. Выяснилось, что мамаша Жири считает вполне естественным, когда голос объявляет, что в ложе кто-то есть, хотя там никого нет. Объяснить это явление, для неё не новое, можно только вмешательством призрака. Призрака в ложе никто не видит, зато слышать может каждый. Сама она слышала его часто, и ей можно верить, потому что она никогда не лжёт. Спросите хоть господ Дебьена и Полинью, и всех, кто её знает, и господина Изидора Сака, которому призрак сломал ногу!

— Вот как? — перебил Моншармен. — Призрак сломал ногу бедняге Изидору Саку?

Мамаша Жири широко раскрыла глаза, выражая изумление перед таким невежеством. В конце концов она согласилась просветить двух несчастных несведущих. Дело было при Дебьене и Полинью, опять же в ложе № 5 и опять на «Фаусте».

Мамаша Жири откашливается, прочищает голос и начинает так, будто собирается исполнить всю партитуру Гуно.

— Значит, так, сударь. Сидели в тот вечер в первом ряду господин Маньера с супругой, ювелиры с улицы Могадор, а позади мадам Маньера её близкий друг, господин Изидор Сак. Мефистофель пел (мамаша Жири поёт): «Вы, что притворно спите...», и тут господин Маньера слышит в правое ухо (жена сидела слева) голос: «Ах-ах, не Жюли ли это притворяется спящей!» (Супругу его как раз зовут Жюли.) Господин Маньера оборачивается направо поглядеть,

кто с ним так заговорил. Никого! Потёр ухо и думает: «Уж не сплю ли я?» А Мефистофель себе поёт дальше... Только я, может, надоела господам директорам?

— Нет-нет, продолжайте...

— Господа директора слишком добры!

(Гримаса мамыши Жири.) Так вот, Мефистофель пел дальше (мамаша Жири поёт): «Катрина, мой кумир, зачем ты отказываешь влюблённому, что молит о таком сладком поцелуе?» И тут же господин Маньера снова слышит в правое ухо тот же голос: «Ах-ах, уж Жюли-то не отказала бы Изидору в поцелуе!» Он оборачивается, но на сей раз к жене и Изидору. И что же видит? Изидор, зайдя сзади, взял руку его супруги и осыпает поцелуями то место, где перчатка оставляет ложбинку... вот так, милые господа. (Мамаша Жири покрывает поцелуями полоску голой кожи, видневшуюся из-под её нитяной перчатки.) Сами понимаете, тихо это не кончилось! Хлоп! Шлёп! Господин Маньера, высокий и сильный, как вы, господин Ришар, отвесил пару оплеух господину Изидору Саку, а тот был худенький и слабенький, как господин Моншармен, с позволения сказать. Скандал вышел. В зале кричали: «Хватит! Хватит! Он его убьёт!» В конце концов господин Изидор Сак вырвался...

— Значит, призрак не ломал ему ногу? — спрашивает Моншармен, слегка уязвлённый тем, что его телосложение произвело на мамашу Жири столь слабое впечатление.

— Сломал, мосье, — высокомерно отвечает мамаша Жири: она поняла обидный намёк.

— Сломал начисто, на большой лестнице, по которой тот слишком быстро спускался, мосье! И так, ей-богу, что бедняге уж долго не подняться!

— Это призрак рассказал вам, что нашептал в правое ухо господину Маньера? — продолжает с серьёзностью, которую считает вершиной комизма, «следователь» Моншармен.

— Нет, мосье, это господин Маньера сам рассказал. Вот так...

— А вы-то сами уже говорили с призраком, почтенная?

— Как с вами сейчас, мой добрый мосье.

— А когда он с вами говорит, что он вам говорит?

— А говорит, чтоб я принесла ему скамеечку!

Произнесённые торжественно, эти слова превратили лицо мамыши Жири в мрамор, жёлтый мрамор с красными прожилками, как у колонн, поддерживающих большую лестницу, то есть в сарранколенский мрамор.

Ришар снова расхохотался вместе с Моншарменом и секретарём Реми. Но инспектор, наученный опытом, уже не смеялся. Прислонившись к стене и лихорадочно перебирая в кармане ключи, он гадал, чем кончится эта история. Чем «сварливее» держалась мамаша Жири, тем сильнее он боялся нового приступа директорского гнева. А теперь, глядя на директорское веселье, мамаша Жири осмелилась стать грозной! Право слово, грозной!

— Чем над призраком смеяться, — возмущённо воскликнула она, — лучше бы поступили, как господин Полиньи, который сам во всём убедился!

— В чём убедился? — спрашивает Моншармен, никогда ещё так не веселившийся.

— В призраке! Ведь говорю же вам! Послушайте! (Она вдруг успокаивается: час, по её мнению, настал серьёзный.) Помню, как сейчас. В тот раз давали «Иудейку». Господин Полиньи пожелал смотреть спектакль один, в ложе призрака. У госпожи Краусс был бешеный успех. Она только что спела, вы знаете, ту большую арию второго акта (мамаша Жири поёт вполголоса):

Рядом с тем, кого люблю, жить хочу и умереть, и сама смерть не сможет нас разлучить.

— Хорошо, хорошо, понятно, — замечает с обескураживающей улыбкой Моншармен.

Но мамаша Жири продолжает вполголоса, покачивая пером своей сажевой шляпки:

Бежим! Бежим! На небесах нас ждёт, отныне и навек, одна судьба на двоих.

— Да, да, мы уже там! — повторяет Ришар, снова теряя терпение. — Ну и что дальше?

— А дальше вот что. Как раз тогда Леопольд восклицает: «Бежим!», а Елеазар их останавливает вопросом: «Куда вы бежите?» И вот в эту самую минуту господин Полиньи (я наблюдала за ним из соседней пустой ложи) встал совсем прямо и пошёл, одеревенев, как статуя, и я только и успела спросить его, как Елеазар: «Куда вы?» Но он не ответил, и был бледнее покойника! Я смотрела, как он спускается по лестнице. Ногу он себе не сломал, но шёл будто во сне, в дурном сне, и даже дороги найти не мог. А ведь ему платили за то, чтобы он Оперу знал как свои пять пальцев!

Так говорила мамаша Жири и замолчала, оценивая впечатление. Рассказ о Полиньи заставил Моншармена задумчиво покачать головой.

— Всё это не объясняет, при каких обстоятельствах и как именно призрак Оперы попросил у вас скамеечку, — настаивал он, впиваясь взглядом в мамашу Жири, как говорится, с глазу на глаз.

— Да с того самого вечера и повелось. С тех пор нашего призрака оставили в покое, больше не оспаривали у него ложу. Господа Дебьен и Полиньи распорядились отдавать её ему на все спектакли. Ну вот, как приходил, так и просил у меня скамеечку.

— Гм! Призрак просит скамеечку? Значит, ваш призрак женщина? — спросил Моншармен.

— Нет, призрак мужчина.

— Откуда вы знаете?

— У него мужской голос, ох, мягкий мужской голос! Вот как оно бывает. Когда он приходит в Оперу, то обычно к середине первого акта, и стучит три коротких сухих раза в дверь ложи № 5. Когда я впервые услышала эти три удара, а знала точно, что в ложе ещё никого нет, подумайте, до чего испугалась! Открываю дверь, слушаю, смотрю: никого! А потом слышу голос: «Мамаша Жюль» (так звали моего покойного мужа), «скамеечку, пожалуйста». С вашего позволения, господин директор, я красная стала как помидор. Но голос продолжал: «Не пугайтесь, мамаша Жюль, это я, призрак Оперы!» Я посмотрела туда, откуда шёл голос, такой добрый и ласковый, что почти не страшно было. Голос, господин директор, сидел в первом кресле первого ряда справа. Только в кресле никого не видно, а поклясться могла бы, что там кто-то сидит, говорит, и притом человек очень вежливый, ей-богу.

— А ложа справа от ложи № 5 была занята? — спросил Моншармен.

— Нет, ни ложа № 7, ни слева № 3 ещё не были заняты. Спектакль только начинался.

— И что вы сделали?

— Принесла скамеечку. Ясное дело, не для себя он её просил, а для своей дамы! Но её я ни слышала, ни видела ни разу.

Что? Как? У призрака теперь есть жена! Двойной взгляд Моншармена и Ришара поднялся от мамы Жири к инспектору, который за её спиной размахивал руками, стремясь привлечь внимание начальства. Он горестно стучал себя пальцем по лбу, показывая директорам, что мамаша Жюль, несомненно, помешана. Эта пантомима окончательно убедила Ришара расстаться с инспектором, у которого в штате служит умалишённая. Добрая женщина, поглощённая своим призраком, уже расхваливала его щедрость.

— В конце спектакля он всегда даёт мне монетку в сорок су, иногда в сто су, а иногда даже десять франков, если несколько дней не приходил. Только с тех пор, как его снова стали тревожить, не даёт ничего.

— Простите, достойная женщина... (Новый бунт пера сажевой шляпки против столь упорной фамильярности.) Простите! Но как призрак умудряется вручать вам эти сорок су? — спрашивает Моншармен, любопытный от природы.

— Ну, оставляет на барьере ложи. Я их там нахожу вместе с программкой, которую я ему всегда приношу. Бывает, нахожу и цветы, розу, упавшую с корсажа его дамы. Наверное, он иногда приходит с дамой: как-то раз они забыли веер.

— Вот как! Призрак забыл веер? И что вы с ним сделали?

— Принесла ему в следующий раз.

Тут раздался голос инспектора:

— Вы нарушили регламент, мамаша Жири. Штрафую вас.

— Помолчите, болван! — прогудел басом Ришар. — Вы принесли веер! И что дальше?

— А дальше они его унесли, господин директор. После спектакля я его уже не нашла, а на его месте лежала коробка английских конфет, которые я так люблю, господин директор. Это одна из любезностей призрака.

— Хорошо, мамаша Жири. Можете идти.

Когда мамаша Жири с достоинством, которое никогда её не покидало, почтительно поклонилась директорам, те объявили инспектору, что решили избавиться от услуг этой старой сумасшедшей. И отпустили инспектора.

Когда инспектор тоже удалился, заверив в преданности заведению, директора поручили администратору рассчитать его. Оставшись одни, они поделились мыслью, пришедшей им в голову одновременно: сходить посмотреть на ложу № 5.

Мы скоро последуем за ними.

ГЛАВА VI

Заколдованная скрипка

Кристина Даэ стала жертвой интриг, о которых мы расскажем позже, и в Опере её триумф уже не повторялся с той силой, что на знаменитом гала-вечере. Зато она с успехом выступила в городе, у герцогини Цюрихской, где спела лучшее из своего репертуара. Вот что написал о ней великий критик Х. У. З., бывший среди почётных гостей:

«Слушая её Офелию, невольно спрашиваешь себя, не сошёл ли сам Шекспир с Елисейских полей, чтобы репетировать с ней эту роль. А когда она возлагает на чело звёздный венец Царицы ночи, то и Моцарт, пожалуй, должен покинуть вечные обители и прийти её послушать. Впрочем, нет, ему незачем беспокоиться: пронзительный, трепетный голос этой волшебницы, исполнительницы его „Волшебной флейты“, и сам долетит до него на небо. Она поднимается туда так же легко, как перенеслась из соломенной хижины в деревне Скотеллоф во дворец из золота и мрамора, возведённый господином Гарнье».

Но после вечера у герцогини Цюрихской Кристина больше не пела в свете. В ту пору она отклоняла любые приглашения и любые гонорары. Без всякого правдоподобного предложения она отказалась от участия в благотворительном празднике, хотя прежде дала на него согласие. Она вела себя так, словно уже не распоряжалась собственной судьбой и страшилась нового успеха.

Узнав, что граф де Шаньи, желая угодить младшему брату, очень деятельно хлопотал за неё перед господином Ришаром, она написала графу, поблагодарила его и попросила впредь не говорить о ней с директорами. Чем объяснялась столь странная перемена? Одни усматривали в ней непомерную гордыню, другие превозносили её божественную скромность. Но в театре такой скромности не бывает. Пожалуй, мне следовало бы написать просто одно слово: страх. Да, мне кажется, Кристина Даэ боялась того, что с ней произошло, и была потрясена не меньше окружающих. Потрясена? Какое там! У меня есть письмо Кристины (из архива Перса), относящееся к тем дням. Перечитывая его, я не скажу, что она была потрясена или даже напугана своим триумфом. Она была ужаснута. Да, да... ужаснута! «Я не узнаю себя, когда пою!» — пишет она.

Бедное, чистое, нежное дитя!

Она нигде не показывалась, и виконт де Шаньи тщетно искал случая встретиться с ней. Он написал ей, прося позволения нанести визит, и уже отчаялся получить ответ, когда однажды утром ему принесли записку:

«Сударь, я не забыла маленького мальчика, который бросился в море за моим шарфом. Не могу удержаться и пишу вам об этом сегодня, когда еду в Перрос исполнить священный долг. Завтра годовщина смерти моего бедного папы, которого вы знали и который вас любил. Он похоронен там вместе со своей скрипкой, на кладбище вокруг маленькой церкви, у подножия холма, где мы детьми столько играли, у края той дороги, где, подростки, мы в последний раз сказали друг другу „прощай“».

Прочтя записку, виконт бросился к железнодорожному справочнику, наспех оделся, набросал несколько строк, которые камердинер должен был передать брату, и вскочил в экипаж. Но экипаж, как назло, доставил его на перрон Монпарнасского вокзала слишком поздно: утренний поезд, на который он рассчитывал, уже ушёл.

Раулю пришлось промаяться весь хмурый день, и жизнь вновь обрела для него вкус лишь к вечеру, когда он уселся в вагон. Всю дорогу он перечитывал записку Кристины, вдыхал её аромат, оживлял милый образ своих юных лет. Эту нескончаемую железнодорожную ночь он провёл в лихорадочном бреде, и началом и концом его была Кристина Даэ. Уже светало, когда он сошёл в Ланьоне и бросился к дилижансу на Перрос-Гирек. Других пассажиров в нём не оказалось. Расспросив кучера, Рауль узнал, что накануне вечером молодая дама, судя по виду

парижанка, велела отвезти её в Перрос и остановилась в гостинице «Заходящее солнце». Это могла быть только Кристина. И приехала она одна. Рауль глубоко вздохнул: в этой глуши он сможет наконец спокойно поговорить с ней. Он любил её до удушья. Этот рослый парень, объехавший вокруг света, был чист, как девица, ни разу не покидавшая материнского дома.

Чем ближе он подъезжал, тем благоговейнее припоминал историю маленькой шведской певуны. Многие подробности её до сих пор неизвестны публике.

Жил-был в одной деревне под Упсалой крестьянин. Всю неделю он пахал землю, а по воскресеньям пел на клиросе. Была у него маленькая дочка, которую он, ещё не научив читать, выучил разбирать ноты. Отец Даэ был, сам того, возможно, не подозревая, великим музыкантом. Он играл на скрипке и слыл лучшим деревенским музыкантом всей Скандинавии. Слава о нём шла по округе, и на свадьбы и пиры всегда звали именно его, чтобы заставить пары плясать. Мать Даэ, давно прикованная к постели болезнью, умерла, когда Кристине пошёл шестой год. Отец, любивший только дочь и свою музыку, тотчас продал клочок земли и отправился искать славу в Упсалу. Нашёл он там одну нищету.

Тогда он вернулся в деревенскую глушь и ходил от ярмарки к ярмарке, наигрывая скандинавские мелодии, а дочь, не отходявшая от него ни на шаг, слушала его в упоении или подпевала. Однажды на ярмарке в Лимби их обоих услышал профессор Валериус и увёз в Гётеборг. Он утверждал, что отец — первый скрипач мира, а у дочери задатки великой артистки. О воспитании и образовании девочки позаботились. Повсюду она пленяла красотой, грацией и стремлением делать и говорить всё как можно лучше. Успехи её были стремительны. Затем профессору Валериусу с женой пришлось переехать во Францию, и они взяли с собой Даэ и Кристину. Мамаша Валериус обращалась с Кристиной как с родной дочерью. А старик начал чахнуть, томимый тоской по родине. В Париже он никогда не выходил из дому и жил в каком-то сне, который поддерживал скрипкой. Часами он запирался с дочерью в комнате, и слышно было, как он тихо-тихо играет и поёт. Иногда мамаша Валериус приходила послушать под дверь, тяжело вздыхала, вытирала слезинку и уходила на цыпочках. Она тоже тосковала по своему северному небу.

Отец Даэ, казалось, набирался сил лишь летом, когда вся семья уезжала на дачу в Перрос-Гирек, в уголок Бретани, почти неизвестный тогда парижанам. Он очень любил тамошнее море: по его словам, оно было того же цвета, что и море на родине. Часто, сидя на берегу, он играл ему самые грустные свои мелодии и уверял, что море умолкает, чтобы послушать. Он так упрашивал мамашу Валериус, что она уступила новой прихоти бывшего деревенского музыканта.

В пору «паломнических праздников», деревенских гуляний, плясок и «тайных хороводов» он уходил, как бывало прежде, со скрипкой, и ему разрешали брать дочь с собой на неделю. Их не уставляли слушать. Они дарили гармонию самым дальним деревушкам на год вперёд, а ночевали в сараях, отказываясь от гостиничной постели, и прижимались друг к другу на соломе, как в те времена, когда были так бедны в Швеции.

Одеты они, однако, были вполне прилично, предлагаемых монет не брали, денег не собирали, и люди вокруг не понимали этого скрипача, бродившего по дорогам с прекрасной девочкой, которая пела так, что казалось, будто слушаешь ангела с небес. За ними шли из деревни в деревню.

Как-то раз городской мальчик, пришедший со своей гувернанткой, заставил её пройти долгий путь: он никак не мог расстаться с маленькой певицей, чей тихий, чистый голос словно приковал его. Так они добрались до берега бухточки, которую и поныне называют Трестрау. Тогда там были лишь небо, море и золотой берег. А главное, там гулял сильный ветер, который унёс в море шарф Кристины. Кристина вскрикнула и протянула руки, но платок уже далеко уплыл по волнам. И она услышала голос:

— Не беспокойтесь, мадемуазель, я достану вам ваш шарф из моря.

Она увидела мальчика, который бежал, бежал, не вникая в крики и возмущённым протестам почтенной дамы, одетой во всё чёрное. Мальчик вошёл в море прямо в одежде и принёс ей шарф. Хорош же он был, и мальчик, и шарф! Дама в чёрном никак не могла успокоиться, а Кристина от души смеялась и поцеловала мальчика. Это был виконт Рауль де Шаньи. Он жил тогда у тётки в Ланьоне. В то лето они виделись почти каждый день и играли вместе. По просьбе тётки и при посредничестве профессора Валериуса старик Даэ согласился давать юному виконту уроки скрипки. Так Рауль научился любить те самые мелодии, что очаровали детство Кристины.

Души у них были почти одинаковые, мечтательные и тихие. Им нравились только истории, старые бретонские сказки, и главная их игра состояла в том, чтобы выпрашивать их на порогах домов, как подавание. «Сударыня или добрый сударь, не найдётся ли у вас для нас маленькой истории?» Редко кто отказывал. Какая бретонская бабушка не видела хоть раз в жизни, как на вереске при свете луны пляшут корриганы?

Но самым большим праздником было, когда в сумерках, в великом вечернем покое, после того как солнце садилось в море, отец Даэ приходил посидеть рядом с ними на обочине и вполголоса, словно боясь спугнуть вызываемых призраков, рассказывал прекрасные, нежные или страшные легенды северных стран. То это было прекрасно, как сказки Андерсена, то печально, как песни великого поэта Рунеберга. Когда он умолкал, дети просили: «Ещё!»

Была одна история, которая начиналась так:

«Король сел в маленькую лодку на одном из тех тихих и глубоких озёр, что раскрываются, как блестящий глаз, среди гор Норвегии...»

А была и другая:

«Малютка Лотта думала обо всём и ни о чём. Летняя птичка, она парила в золотых лучах солнца, и на светлых её локонах лежал весенний венок. Душа её была так же ясна и так же голубоока, как её взгляд. Она ласкалась к матери, была верна своей кукле, берегла платице, красные башмачки и скрипку, но больше всего на свете любила, засыпая, слушать Ангела музыки».

Пока старик рассказывал, Рауль смотрел в голубые глаза Кристины и на её золотые волосы. А Кристина думала, как счастлива малютка Лотта, которая, засыпая, слышит Ангела музыки. Почти не было сказки у отца Даэ, где не появлялся бы Ангел музыки, и дети без конца просили объяснить, кто он такой. Отец Даэ говорил, что каждый великий музыкант и каждый великий артист хоть раз в жизни удостоивается посещения Ангела музыки. Иногда он склоняется над самой колыбелью, как случилось с малюткой Лоттой, и потому бывают маленькие чудо-дети, которые в шесть лет играют на скрипке лучше пятидесятилетних мужчин, что, согласитесь, весьма необычно. Иногда Ангел приходит гораздо позже, потому что дети упрямые, не хотят учить уроки и пренебрегают гаммами. А иногда он не приходит никогда, потому что у человека нет чистого сердца и спокойной совести. Ангела никто никогда не видит, но он даёт о себе знать избранным душам. Часто это бывает в минуты, когда они меньше всего его ждут, когда они печальны и упали духом. Тогда слух вдруг улавливает небесные созвучия, божественный голос, и человек помнит их всю жизнь. Те, кого посетил Ангел, словно воспаляются. Они трепещут тем трепетом, которого не ведают прочие смертные. И обретают такую власть, что не могут коснуться инструмента или открыть рот, чтобы запеть, без звуков такой красоты, что рядом с ними меркнут все остальные человеческие голоса. Люди, не знающие, что Ангел посетил этих избранных, говорят, что у них гений.

Маленькая Кристина спрашивала отца, слышал ли он Ангела. Но отец Даэ грустно качал головой, а потом взор его вспыхивал, когда он смотрел на дочь, и он говорил:

— Ты, дитя моё, услышишь его когда-нибудь! Когда я буду на небесах, я пошлю его тебе, обещаю!

Отец Даэ уже тогда начинал кашлять.

Пришла осень и разлучила Рауля с Кристиной.

Они встретились снова три года спустя, уже юношей и девушкой. Это случилось опять в Перросе, и встреча оставила в душе Рауля след на всю жизнь. Профессор Валериус умер, но мамаша Валериус, удерживаемая во Франции делами, осталась со стариком Даэ и его дочерью. Те по-прежнему пели и играли на скрипке, увлекая в свой гармоничный сон дорогую покровительницу, которая, казалось, теперь жила одной музыкой. Юноша приехал в Перрос наудачу и так же, наудачу, вошёл в дом, где когда-то жила его маленькая подруга. Первым он увидел старика Даэ, который поднялся с кресла со слезами на глазах и обнял его, сказав, что они хранили о нём верную память. И правда, не проходило дня, чтобы Кристина не говорила о Рауле. Старик ещё не договорил, как отворилась дверь, и вошла девушка, прелестная и проворная, неся на подносе дымящийся чай. Она узнала Рауля и поставила поднос. Лёгкий румянец залил её милое лицо. Она замерла в нерешительности, молча. Отец смотрел на обоих. Рауль подошёл к девушке и поцеловал её, и она не уклонилась от поцелуя. Она задала ему несколько вопросов, мило исполнила долг хозяйки, взяла поднос и вышла. Потом она убежала в одинокий сад и спряталась на скамье. В её девичьем сердце впервые шевельнулись новые чувства. Рауль пришёл к ней, и они проговорили до вечера, оба в большом смущении. Они совсем изменились, не узнавали своих прежних персонажей, которые, казалось, приобрели огромную важность. Они были осторожны, как дипломаты, и рассказывали друг другу о вещах, не имевших отношения к их зарождающимся чувствам. Когда они расстались на краю дороги, Рауль сказал Кристине, оставив на её дрожащей руке почтительный поцелуй: «Мадемуазель, я никогда вас не забуду!» И ушёл, жалея об этих смелых словах, потому что прекрасно знал: Кристина Даэ не может стать женой виконта де Шаньи.

А Кристина пошла к отцу и сказала: «Тебе не кажется, что Рауль уже не так мил, как раньше? Я его больше не люблю!» И попыталась о нём не думать. Давалось ей это с трудом, и она с головой ушла в искусство, поглотившее все её минуты. Успехи её стали блистательными. Те, кто её слушал, предсказывали, что она станет первой артисткой мира. Но тут отец умер, и вместе с ним она, казалось, потеряла голос, душу и гений. Всего этого ей осталось ровно столько, чтобы поступить в Консерваторию, и не больше. Ничем она там не отличилась, занималась без увлечения и получила премию лишь затем, чтобы порадовать старую мамашу Валериус, с которой продолжала жить. Когда Рауль впервые вновь увидел Кристину в Опере, он был очарован красотой девушки и воспоминаниями о милых образах бывшего, но довольно сильно удивился холодности её искусства. Она казалась отрешённой от всего. Он приходил слушать её снова. Он шёл за ней за кулисы. Он ждал её за декорацией. Он пытался привлечь её внимание. Не раз он провожал её до порога уборной, но она его не видела. Она, впрочем, казалось, не видела никого. Мимо неё проходило безразличие. Рауль страдал: она была красива, а он робок и не смел признаться себе, что любит её. А потом грянул гром гала-вечера: небеса разверзлись, голос ангела зазвучал на земле на радость людям и на погибель его сердца...

А потом, а потом был этот мужской голос за дверью: «Вы должны любить меня!», а в уборной никого...

Почему она рассмеялась, когда он сказал ей в миг, когда она открыла глаза: «Я тот маленький мальчик, который достал ваш шарф из моря»? Почему она его не узнала? И почему написала ему?

О, как долог этот подъём... долог... Вот распятие на трёх дорогах... Вот пустынная пустошь, оледенелый вереск, неподвижный пейзаж под белым небом. Стёкла звенят, дребезжат, оглушают... Сколько шума от этого дилижанса, который так мало продвигается вперёд! Он узнаёт хижину... ограды, откосы, придорожные деревья... Вот последний поворот дороги, а потом спуск, и будет море... большая бухта Перроса...

Значит, она остановилась в гостинице «Заходящее солнце». Ну конечно! Другой там нет. К тому же там очень хорошо. Он помнит, какие прекрасные истории там рассказывали в прежние времена! Как бьётся его сердце! Что она скажет, увидев его?

Первой, кого он замечает, входя в старый закопчённый зал гостиницы, оказывается мамаша Трикар. Она его узнаёт. Осыпает комплиментами. Спрашивает, что привело его сюда. Он краснеет. Говорит, что приехал по делу в Ланьон и решил «заглянуть, чтобы поздороваться». Она хочет подать ему завтрак, но он отвечает: «Чуть позже». Он, кажется, чего-то или кого-то ждёт. Дверь открывается. Он вскакивает. Он не обманулся: это она! Он хочет заговорить, но, потеряв силы, опускается на стул. Она стоит перед ним, улыбаясь, ничуть не удивлённая. Лицо у неё свежее и розовое, как земляника, выросшая в тени. Должно быть, девушку развратила быстрая ходьба. Грудь её, в которой бьётся чистое сердце, тихонько вздымается. Глаза, ясные зеркала бледной лазури, цвета озёр, что неподвижно грезят там, далеко на севере мира, спокойно дарят ему отражение её непорочной души. меховая накидка распахнута на гибком стане, на гармоничной линии юного тела, полного грации. Рауль и Кристина долго смотрят друг на друга. Мамаша Трикар улыбается и деликатно исчезает. Наконец Кристина заговаривает:

— Вы приехали, и я ничуть не удивляюсь. Я предчувствовала, что найду вас здесь, в этой гостинице, когда вернусь с мессы. Кто-то сказал мне об этом там. Да, мне возвестили о вашем приезде.

— Кто же? — спрашивает Рауль, беря в ладони маленькую руку Кристины, которую она не отнимает.

— Мой бедный папа, который умер.

Между молодыми людьми повисает молчание. Потом Рауль продолжает:

— А ваш папа сказал вам, что я люблю вас, Кристина, и не могу жить без вас?

Кристина краснеет до корней волос и отворачивается. Дрожащим голосом она говорит:

— Я? Вы сошли с ума, друг мой.

И раздражается смехом, чтобы, как говорится, придать себе храбрости.

— Не смейтесь, Кристина, это очень серьёзно.

Она возражает так же серьёзно:

— Я позвала вас не для того, чтобы вы говорили мне такие вещи.

— Вы меня «позвали», Кристина: вы угадали, что ваше письмо не оставит меня равнодушным и что я примчусь в Перрос. Как вы могли так подумать, если не знали, что я вас люблю?

— Я подумала, что вы вспомните игры нашего детства, в которых так часто участвовал мой отец. По правде, я и сама не знаю, о чём подумала. Быть может, мне не следовало вам писать. Ваше внезапное появление в моей уборной в тот вечер унесло меня далеко-далеко в прошлое, и я написала вам как та маленькая девочка, какой была когда-то: в минуту грусти и одиночества она была бы счастлива увидеть рядом своего маленького товарища.

Они на миг замолкают. В поведении Кристины есть нечто такое, что Рауль находит неестественным, хотя и не может точно выразить свою мысль. Но враждебности он в ней не чувствует, напротив: безутешная нежность её глаз говорит ему достаточно. Но почему эта нежность безутешна? Вот, быть может, то, что нужно узнать и что уже раздражает юношу.

— Когда вы увидели меня в своей уборной, вы заметили меня впервые, Кристина?

Она не умеет лгать. Она говорит:

— Нет. Я уже несколько раз видела вас в ложе вашего брата. А ещё на сцене.

— Я так и думал! — говорит Рауль, закусив губу. — Но почему тогда, когда вы увидели меня у своих ног и я напомнил вам, как достал ваш шарф из моря, вы ответили так, будто меня не знаете, и ещё рассмеялись?

Тон этих вопросов столь резок, что Кристина смотрит на Рауля с изумлением и не отвечает. Юноша и сам поражён этой внезапной ссорой, которую затеял именно в ту минуту, когда пообещал себе говорить Кристине слова нежности, любви и покорности. Муж или любовник, облечённый всеми правами, не говорил бы иначе с женой или возлюбленной, которая его оби-

дела. Но он злится на собственные промахи и, считая себя глупцом, находит единственный выход из нелепого положения в яростной решимости быть несносным.

— Вы мне не отвечаете! — говорит он с досадой и горечью. — Что ж, я отвечу за вас! Дело в том, что в этой уборной был кто-то, кто вас стеснял, Кристина! Кто-то, кому вы не хотели показать, что можете интересоваться кем-то, кроме него!

— Если кто-то и стеснял меня, друг мой, — перебила Кристина ледяным тоном, — если кто-то и стеснял меня в тот вечер, то, должно быть, вы, ведь именно вас я выставила за дверь!

— Да! Чтобы остаться с другим!

— Что вы говорите, сударь? — задыхаясь, спрашивает девушка. — И о каком другом идёт речь?

— О том, кому вы сказали: «Я пою только для вас! Я отдала вам сегодня свою душу, и я мертва!»

Кристина хватается за руку Рауля и сжимает её с силой, которую невозможно заподозрить в этом хрупком существе.

— Вы подслушивали под дверью?

— Да! Потому что я вас люблю. И я всё слышал.

— Что вы слышали? — И девушка, вдруг странно успокоившись, отпускает руку Рауля.

— Он сказал вам: «Вы должны любить меня!»

При этих словах мертвенная бледность заливает лицо Кристины, под глазами залегают тени. Она шатается, вот-вот упадёт. Рауль бросается к ней, протягивает руки, но Кристина уже справилась с мимолётной слабостью и едва слышным, почти угасающим голосом говорит:

— Говорите! Говорите ещё! Говорите всё, что слышали!

Рауль смотрит на неё, колеблется, ничего не понимает.

— Ну говорите же! Вы же видите, что убиваете меня!

— Я слышал ещё, что он ответил вам, когда вы сказали, что отдали ему душу: «Душа твоя прекрасна, дитя моё, и я благодарю тебя. Ни один император не получал такого дара! Сегодня плакали ангелы!»

Кристина прижимает руку к сердцу. Она смотрит на Рауля с невыразимым волнением. Взгляд её настолько пронзителен и неподвижен, что кажется взглядом безумной. Рауль в ужасе. Но тут глаза Кристины становятся влажными, и по щекам цвета слоновой кости скатываются две жемчужины, две тяжёлые слезы.

— Кристина!

— Рауль!

Юноша хочет схватить её, но она выскальзывает из его рук и в полном смятении убегает.

Пока Кристина сидела взаперти в своей комнате, Рауль терзал себя упрёками за грубость, но в то же время ревность вновь пустилась вскачь в его воспламенённых жилах. Если девушка так взволновалась, узнав, что её тайну подслушали, значит, тайна эта важна! Конечно, Рауль, несмотря на всё услышанное, не сомневался в чистоте Кристины. Он знал, что она славится скромницей, и не был так наивен, чтобы не понимать, в каком положении порой оказывается артистка, вынужденная выслушивать любовные речи. Она ответила на них, сказав, что отдала душу, но очевидно, что речь шла лишь о пении и музыке. Очевидно? Тогда почему такое волнение только что? Боже мой, как несчастен был Рауль! Если бы этот человек, этот мужской голос оказался в его руках, он потребовал бы у него точных объяснений.

Почему убежала Кристина? Почему не спускалась вниз?

Он отказался от завтрака. Он был совершенно подавлен, и страдание его было велико: часы, которые он надеялся провести так сладко, текли вдали от юной шведки. Почему она не хочет пройти с ним по здешним местам, где у них столько общих воспоминаний? И почему, раз ей, кажется, нечего делать в Перросе, раз она, по сути, ничем здесь не занята, она не воз-

вращается тотчас в Париж? Он узнал, что утром она заказала мессу за упокой души отца Даэ и провела долгие часы в молитве в маленькой церкви и на могиле деревенского музыканта.

Печальный, павший духом, Рауль отправился на кладбище при церкви. Он толкнул калитку. Он бродил в одиночестве среди могил, разбирая надписи, но, когда зашёл за апсиду, сразу всё понял по яркому пятну цветов, вздыхавших на гранитной плите и рассыпавшихся даже по белой земле. Они благоухали так густо, так щедро среди всего этого заледенелого уголка бретонской зимы. Это были чудесные красные розы, словно распустившиеся поутру прямо в снегу. Это была капля жизни среди мёртвых, ибо смерть здесь царила повсюду. Она выступала и из самой земли, которая исторгла избыток своих мертвецов. Скелеты и черепа сотнями лежали грудой у церковной стены, удерживаемые лишь лёгкой провололочной сеткой, сквозь которую был виден весь жуткий склад. Мёртвые головы, сложенные, выстроенные, как кирпичи, и скреплённые в промежутках тщательно выбеленными костями, образовывали, казалось, нижний ряд кладки, на которой возвели стены ризницы. Дверь ризницы открывалась прямо посреди этого оссуария, какие часто встречаются возле старых бретонских церквей.

Рауль помолился за Даэ, затем, угнетённый вечными улыбками на устах мёртвых голов, вышел с кладбища, поднялся на холм и сел на краю пустоши, нависающей над морем. Ветер злобно носился по отмелям, лая на бедный, робкий свет дня. Тот уступил, побежал и стал лишь свинцовой полоской на горизонте. Тогда ветер стих. Наступил вечер. Рауль был окутан ледяными тенями, но не чувствовал холода. Все его мысли, все воспоминания блуждали по этой пустынной и унылой пустоши. Именно здесь, на этом самом месте, он часто бывал на закате с маленькой Кристиной, чтобы смотреть, как пляшут корриганы, как раз в миг, когда восходит луна. Сам он никогда ни одного не видел, хотя зрение у него было хорошее. Кристина же, близорукая, уверяла, что видела их множество. Он улыбнулся этой мысли, а потом вдруг вздрогнул. Какая-то фигура, вполне отчётливая, но возникшая неведомо как, без малейшего предупредительного шума, стояла рядом и говорила:

— Как вы думаете, придут ли сегодня корриганы?

Это была Кристина. Он хотел заговорить. Она закрыла ему рот затянутой в перчатку рукой.

— Выслушайте меня, Рауль. Я решилась сказать вам нечто важное, очень важное!

Голос её дрожал. Он ждал.

Она продолжала, задыхаясь:

— Помните ли вы, Рауль, легенду об Ангеле музыки?

— Ещё бы не помнить! — сказал он. — Кажется, именно здесь ваш отец впервые нам её рассказал.

— Здесь же он сказал мне: «Когда я буду на небе, дитя моё, я пошлю его тебе». Так вот, Рауль, мой отец на небе, и меня посетил Ангел музыки.

— Не сомневаюсь, — серьёзно ответил юноша: ему казалось, что в благочестивом порыве его подруга смешивает память об отце с блеском своего недавнего триумфа.

Кристина слегка удивилась хладнокровию, с каким виконт де Шаньи принял известие о том, что её посетил Ангел музыки.

— Как вы это понимаете, Рауль? — спросила она, наклоня бледное лицо так близко к лицу юноши, что тот мог подумать, будто Кристина собирается поцеловать его. Но она хотела лишь прочесть в его глазах, несмотря на темноту, что у него на душе.

— Я понимаю, — ответил он, — что человек не может петь так, как вы пели в тот вечер, без вмешательства чуда, без участия неба. На земле нет учителя, который научил бы вас таким звукам. Вы слышали Ангела музыки, Кристина.

— Да, — торжественно сказала она, — в моей уборной. Именно там он приходит давать мне ежедневные уроки.

Тон, каким она это произнесла, был настолько проникновенным и странным, что Рауль взглянул на неё с тревогой, как смотрят на человека, который несёт чудовищную нелепицу или утверждает, что видел призрак, и верит в него всеми силами своего больного, несчастного рассудка. Но она отступила назад и уже стояла неподвижно, лишь тенью в ночи.

— В вашей уборной? — повторил он, как глупое эхо.

— Да, именно там я его слышала, и не я одна.

— Кто же ещё его слышал, Кристина?

— Вы, друг мой.

— Я? Я слышал Ангела музыки?

— Да, в тот вечер, когда вы подслушивали под дверью моей уборной, говорил именно он. Это он сказал мне: «Вы должны любить меня». Но я думала, что только я одна способна слышать его голос. Так судите же о моём изумлении, когда сегодня утром я узнала, что и вы можете его слышать.

Рауль расхохотался. И тотчас ночь над пустынной пустошью просветлела, и первые лучи луны окутали молодых людей. Кристина повернулась к Раулю с неприязнью. Её глаза, обычно такие кроткие, метали молнии.

— Почему вы смеётесь? Вы, может быть, полагаете, что слышали мужской голос?

— Ну конечно, — ответил юноша, у которого мысли начали путаться перед воинственным видом Кристины.

— И это вы, Рауль! Вы мне это говорите! Мой бывший маленький товарищ! Друг моего отца! Я вас не узнаю! Что же вы думаете? Я порядочная девушка, господин виконт де Шаньи, и не запираюсь с мужскими голосами в своей уборной. Если бы вы открыли дверь, то увидели бы, что там никого нет!

— Это правда! Когда вы ушли, я открыл дверь и никого в уборной не нашёл.

— Вот видите. Ну так что же?

Рауль собрал всё своё мужество.

— Так вот, Кристина, я думаю, что над вами смеются!

Она вскрикнула и убежала. Он бросился за ней, но она в яростном раздражении бросила ему:

— Оставьте меня! Оставьте меня!

И исчезла. Рауль вернулся в гостиницу усталый, подавленный и очень грустный.

Он узнал, что Кристина только что поднялась к себе и объявила, что ужинать не спустится. Юноша спросил, не больна ли она. Добрая хозяйка ответила уклончиво: если и недомогает, то это, должно быть, не очень серьёзная хворь. Решив, что у влюблённых просто размолвка, она отошла, пожимая плечами и лукаво сетуя на молодёжь, которая тратит на пустые ссоры часы, отпущенные ей Господом на земле. Рауль поужинал один у очага, и, как вы понимаете, весьма угрюмо. Потом у себя в комнате попытался читать, потом в постели попытался уснуть. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Что делала Кристина? Спала ли? А если не спала, о чём думала? А он сам о чём думал? Смог бы он это сказать? Станный разговор с Кристиной совсем сбил его с толку. Он думал не столько о Кристине, сколько вокруг Кристины, и это «вокруг» было так расплывчато, так туманно, так неуловимо, что вызывало очень странную и тревожную маету.

Часы тянулись очень медленно. Было, наверное, половина двенадцатого ночи, когда он отчётливо услышал шаги в соседней комнате. Лёгкая, крадущаяся поступь. Значит, Кристина не ложилась? Не раздумывая над своими действиями, юноша торопливо оделся, стараясь не произвести ни малейшего шума. И, готовый на всё, стал ждать. Готовый к чему? Разве он знал? Сердце его подпрыгнуло, когда дверь Кристины медленно повернулась на петлях. Куда она шла в этот час, когда весь Перрос спал? Он осторожно приоткрыл свою дверь и увидел в лунном луче белую фигуру Кристины, которая бесшумно скользила по коридору. Она дошла до

лестницы и спустилась, а он, оставаясь наверху, склонился над перилами. Вдруг он услышал два голоса, быстро о чём-то говоривших. До него долетела фраза: «Не потеряйте ключ». Это был голос хозяйки. Внизу открыли дверь, выходящую на рейд, и снова закрыли. Всё стихло. Рауль тотчас вернулся в комнату и бросился к окну, которое распахнул. Белая фигура Кристины вырисовывалась на пустынной набережной.

Второй этаж гостиницы «Заходящее солнце» был невысок, и росшее вдоль стены дерево, протягивавшее ветви к нетерпеливым рукам Рауля, позволило ему выбраться наружу так, что хозяйка и не заподозрила его отсутствия. Тем велико было изумление доброй женщины, когда наутро ей принесли юношу, почти заледеневшего, более мёртвого, чем живого, и она узнала, что его нашли распростёртым на ступенях главного алтаря маленькой церкви в Перросе. Она побежала поскорее сообщить новость Кристине, та поспешно спустилась и вместе с хозяйкой окружила юношу тревожными заботами. Вскоре он открыл глаза и совсем вернулся к жизни, увидев над собой милое лицо подруги.

Что же произошло? Комиссару Мифруа несколько недель спустя, когда драма в Опере привела в движение прокуратуру, представилась возможность допросить виконта де Шаньи о событиях той ночи в Перросе, и вот как они были записаны на листах следственного дела. (Документ № 150.)

Вопрос. Мадемуазель Даэ не заметила, как вы спускались из своей комнаты столь необычным путём?

Ответ. Нет, сударь, нет. Я шёл позади неё и не старался заглушать шаги. Тогда я хотел лишь одного: чтобы она обернулась, увидела меня и узнала. Я только что сказал себе, что моя погоня совершенно неприлична и что шпионство, которому я предаюсь, недостойно меня. Но она, казалось, не слышала меня и вела себя так, словно меня там не было. Она спокойно ушла с набережной, а потом вдруг быстро пошла вверх по дороге. Церковные часы только что пробили без четверти двенадцать, и мне показалось, что бой часов ускорил её шаг, потому что она почти побежала. Так она добралась до кладбищенской калитки.

В. Калитка была открыта?

О. Да, сударь, и это меня удивило, но мадемуазель Даэ нисколько не удивило.

В. На кладбище никого не было?

О. Я никого не видел. Если бы там кто-то был, я бы его увидел. Лунный свет был ослепительным, а снег, покрывавший землю, отражал лучи и делал ночь ещё светлее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.